

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

# АЛЬМАНАХ

“ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ”

1996

ЛТ

84.2Росб  
П54 - 2у

✓ X



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
**АЛЬМАНАХ**  
"ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ"

1996

СП

159831  
Тайм...  
С...  
С...

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
"ПОЛИГРАФВИДЕО"  
г. Москва

Альманах издан по заказу Управления культуры  
Администрации Таймырского округа.

Издание Альманаха ставит своей целью  
популяризацию творчества прозаиков  
и поэтов, драматургов и литературных  
критиков, проживающих на полуострове  
или пишущих о Таймыре.

Составитель: Валентина Заварзина.  
Редактор: Юрий Градинаров.  
Макет Тимура Атаева.  
Корректор Светлана Петрова.

## СОДЕРЖАНИЕ

## ПОЭЗИЯ

*Виктория БЕЛЯЕВА* ✓

- "Кленовые звезды еще не покинули веток..." .....7  
 "В октябре — о зиме, а зимою — об осени пряной..." .....7

*Юлия МЕРКУШЕВА* ✓

- "Как тайный голос, Ночь войдет царицей..." .....8  
 Молитва лесника .....8  
 Найдешь живую воду .....8  
 Рассвет .....8  
 Пешком в бесконечность .....8

*Олег ВАЩАЕВ* ✓

- "Предчувствие дождя..." .....9  
 "Я чувствую Время..." .....9  
 "Перестань... О надеждах не нужно..." .....9  
 "Уведи меня, месяц..." .....9

*Елена ЯГУМОВА* ✓

- "О, страшный город..." .....10  
 "Прости, забывчивый, и помяни меня..." .....11  
 "Нагретый аромат тяжелых лилий..." .....11

*Галина ЛЕТЯГИНА* ✓

- "У памяти двойная глубина..." .....12  
 "Дуракам закон не писан..." .....12  
 "Туман сетями выстелил..." .....12  
 "Я долго без тебя жила..." .....12

*Ася РУДИНСКАЯ* ✓

- Свеча любви .....13  
 Встреча .....13  
 "Как трудно ждать, когда не знаешь..." .....13  
 "В настоящем и будущем времени..." .....13  
 "Как будто все, что было с нами..." .....14  
 "Ты наверно думаешь, тоскую?" .....14  
 Ине .....14  
 Сила материнства .....14  
 Было детство .....15  
 Утонуло солнышко в тумане .....15

*Виктор ВОЩЕНКОВ* ✓

- Грустная сказка .....16  
 "Если бы из всех моих желаний..." .....16  
 "Простишь ли ты за то, что столько лет..." .....16  
 Сонет .....16  
 А. А. Синюткину — человеку трудной судьбы .....16  
 В горах .....17  
 Признание .....17  
 "Когда в душе угрюмый мрак..." .....17  
 "Как горько то, что в нашей суете..." .....17  
 "Север мой, ты жизнь моя и молодость..." .....17  
 "Не знаю я, была ли эта осень..." .....17  
 "Сгорало небо в сполохах рассветов..." .....17  
 "Когда, в закат сходя, седая ночь..." .....17  
 Посвящение А. В. .....17  
 "Ну, где тут сердцу не растаять..." .....18  
 "Что-то есть в этих долгих ночах..." .....18  
 "Нас нет давно. Мы все — трава и лес..." .....18  
 "Ну кто же ты? Когда пришла? Откуда?" .....18  
 Страница весны .....18  
 "Дыханье ветра. Запах тальников..." .....18  
 "Снова к озеру, сквозь колдобины..." .....18  
 Мои снега .....18

- "Зимняя дорога. Электричка..." .....19  
 Посвящения .....19  
 "Проходят зимы и проходят весны..." .....19  
 "Идет весна. В распадах бродит ветер..." .....19  
 "Опять снега качаются вдали..." .....19

*Владимир КАНТАРИЯ* ✓

- "То ли лирика поздняя!" .....20  
 "Мы живем на вулкане предчувствий..." .....20  
 "То ли голоден мир, то ли тесен..." .....20  
 "Несчастный день. Бедовая раскладка..." .....20  
 "Свет мой померкший, где силы мне взять..." .....20  
 "Захандрю, затоскую..." .....20

*Дмитрий ВАСИН* ✓

- Свинец .....21  
 "Три этих ночи есть у нас..." .....21

*Надежда КОСТЕРКИНА* ✓

- Танец .....22

*Сергей ЛУЗАН* ✓

- Сомнения Екклесиаста (*Вариации по Книге Екклесиаста, или проповедника*) .....23  
 Падение Ниневии .....23  
 Из невидимой книги .....24  
 Старина на причале .....25  
 Разложение и сочинение .....25

## ПРОЗА

*Сергей ЛУЗАН*

- Гусар .....26  
 Утренняя разминка .....27  
 Раз на раз не приходится .....29

*Владимир ЭЙСНЕР* ✓

- "Расстрельный" Семенов .....32  
 Сизигийный отлив .....33  
 Сезон гостей .....35

*Никандр ЕЛАГИН* ✓

- Побратимы Арктики .....41

*Юрий ГРАДИНАРОВ* ✓

- По собственному желанию .....50

## ФОЛЬКЛОР

*Казимир ЛАБАНАУСКАС* ✓

- Два шамана .....63  
 Двое Маринча .....64

*Оксана ДОБЖАНСКАЯ* ✓

- Кахы лу .....66  
 Два брата .....67

## ИСТОРИЯ. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА

*Юрий БАРИЕВ*

- Читая "Слово..." (*Письма о переводе "Слова о полку Игореве"*) .....69  
 "Слово о полку Игореве" (*перевод*) .....73



## Виктория БЕЛЯЕВА

*Коренная норильчанка. Студентка литературного института им. А.М. Горького. Ее увлечения разнообразны и глубоки. Она прекрасно рисует, играет на гитаре, поет, пишет прозу. Она талантлива, каким и должен быть поэт.*

Кленовые звезды еще не покинули веток,  
но холодно ветру стоять на обочине сна.  
И серое небо узором неправильных клеток  
в японские свитки уже исчертила сосна.

Стихи о любви — это глупо, ненужно, нелепо.  
Войсками сомнений мой город кругом осажден.  
Постскриптум, постфактум посмертный  
безрадостный слепок срывает сентябрь.  
Сентименты смывает дождем.

Пока что не стали стеклом синеватые лужи  
и льдом не покрыта кора обомлевшей земли.  
Еще не покрыта. Твой голос еще не простужен.  
Твой голос, мой милый. Твой голос. Еще корабли  
уходят в пространство. Еще не хватились пропажи,  
и крик никого не спугнул в настороженной мгле.  
Стихи о любви. Это было и будет. Но как же  
мне страшно, мой милый, мне страшно стоять на земле!

В распахнутом небе всюду полыхают зарницы,  
и в город еще не вошла оголтелая рать.  
Но это не листья летят — облетают страницы.  
Мне негде, мой милый, мне негде  
и не о чем больше писать.

*... И море черное, витийствуя, шумит,  
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.*  
О. МАНДЕЛЬШТАМ.

1

В октябре — о зиме, а зимою — об осени пряной,  
об озябшей земле, о последних дождях и туманах.  
Спелым яблоком алое солнце в ладони упало,  
тихий город уснул, до бровей натянув одеяло.

Серебром и слезами наполнился воздух. Послушай,  
эта осень печальна, как всякая осень, но суше  
и отрывистой голос на первом морозе — так птицы  
напоследок кричат, так поют на ветру колесницы

уходящих в поход безымянных, но славных героев.  
Так сказал Одиссей, уходя завоевывать Трои:

ты должна меня ждать. Корабли растворились в тумане.  
Виноцветное море вскипало и билось о камни.

2

В октябре — о снегах, о прозрачной мелодии моря,  
о далеких холмах, о жалейке, что, ласково вторя  
уходящему лету, тихонько бредет по долине.  
О садах, цепенеющих в мареве дымчато-синем.  
Этот холод и звон, эту странную нежность не в силах  
удержать ни слова, ни глаза. Как немного просила  
уходящая осень — покоя, мгновенья покоя —  
обмирая и рушась последней звенящей строкою.

Этот грохот и страх, эти древние черные камни,  
неизбежно ожившие под колдовскими руками —  
это сон или бред, это только чернильные знаки,  
огонек сигареты, растаявший отсвет во мраке.

3

В октябре — о вершинах, о пурпуре поздних рассветов,  
о бессмертных стихах знаменитых, но смертных поэтов.  
Прозревают слова под лукавым пером Мандельштама  
и в Гомерову вечность идут и идут телеграммы.

Словно точка-тире, словно гвозди вбиваются в крышу.  
Это дождь или снег, это время молчания вышло.  
На простертом листе оживут горбоносые тени.  
Под ногами пришельцев уже заскрипели ступени.

Кроме снега и слез ничего для бессмертья не надо.  
Среди русских берез прорастают оливы Элады,  
и летит Аполлон над густой колоннадой Большого,  
на четверке коней, ускакавшей из сказки Ершова.

4

Серебром и слезами, и горечью воздух пропитан.  
Безымянная грусть набирается мелким петитом  
и сгущается в небе рядами рифмованных строчек,  
заполняя пространство сплошной чередой многоточий.

Молчаливы деревья раздетого осенью парка.  
Что за странную нить нам прядут сердобольные парки?  
Ты должна меня ждать, — и октябрь облетает стихами,  
и свинцовое море вскипает и бьется о камни.

**Юлия МЕРКУШЕВА**

*Вошла в братство норильских поэтов  
неожиданно и уверенно. Она студентка  
Московского государственного  
института живописи имени Сурикова. Ее отличает  
яркое образное видение мира и метафоричность.*

*А той со львами только веселей!  
Ей незачем заискивать при  
встрече,  
С тем, о котором вымолвит:  
— Се лев. —*

Б. Ахмадулина

Как тайный голос, Ночь войдет царицей,  
остатки платья бросит на диван,  
и четки звездные с точеной поясницы,  
бледнея, упадут к ее ногам.

Она присядет, гордою рукою  
развяжет на полу мешок времен,  
достанет офицерский полк с тоскою  
и сдунет пыль с начищенных стремен.  
Ей мало будет этого! Украдкой  
она из шкафа вынет целый лес.  
— Играть!..

Играть!.. —

пока не спеты святки,  
пока все спят и месяц не исчез...

Глупцы! Они не знают этой силы!  
Им не дано узреть, как у нее  
горчица дикая заплаканно и пылко  
к печальному подсолнечнику льнет...

**МОЛИТВА ЛЕСНИКА**

В пустынном доме взвизгнут половицы.  
Ноге приятен будет этот стон.  
Ружье на шкаф.  
Вздохнуть, остановиться  
наедине с часами. Ты и дом.  
Оставить на пороге сырость леса,  
горячие масла разделить  
с печалью, что живет за занавеской...  
потом уйти в безмолвие молитв.  
Услышать, как, держась за теплый вечер,  
молчаньем захлебнется Зодиак,  
и душу превратить в немые свечи,  
и вздрогнуть, если дверь лизнет сквозняк...  
И наконец, спокойно встать с колен...  
услышав, как над черною дорогой  
едва прошепчет Ночь: "Благословен.  
Благословен грядый во имя Бога..."

**НАЙДЕШЬ ЖИВУЮ ВОДУ**

Как странно — голосом не сдвинешь темноту.  
И беложилье рваное не свяжешь...  
И зыбкой лавице, споткнувшись на ходу,  
про зыбкость эту над ручьем не скажешь.  
Я знаю тихий плач домов порожних...  
Я слышала, как, вторя городам,  
одна звенит тоскою козерожьей  
моя неопаленная звезда.  
Но я не верю, что литийный шепот  
сильней молчания под сенью куполов.  
Роптать легко — не камень глушит ропот.  
А боль предания и ранняя любовь.  
В туман!.. К цветам!..  
Найдешь живую воду!..  
Куда же ты, глупец,

туман не там...

Ужель еще мечтаешь выпить воздух  
не дышанный?..

Несчастливая мечта.

**РАССВЕТ**

Солнце в промасленной кальке устало дремлет...  
Бритоголовых каштанов неровный строй  
густо облеплен цветками гигантской вербы —  
это встречает день голубиный рой.  
Глупая, словно с похмелья, бредет собака ... —  
мутно в душе и не выспалась.

Серый взгляд  
так равнодушно скользит за тревожным шагом  
ранних людей, — спозаранку — слепых шенят ...  
В карманах —

ломтики холода, хруст и пальцы,  
спички сырые и где-то под ними — вздох  
(все еще пахнувший сном и зубною пастой).  
Полный набор утренних воробьев...

**ПЕШКОМ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ**

Глупой черной вороной ахну  
между бетонных плит, —  
Сорванным голосом, — в темную шахту,  
— чтобы услышал Аид...

Как прикорнувшая кошка, дремлет  
у поясницы плеть.  
Сердце закапываю в землю  
и убегаю в степь

Телом сдвигая седую вечность, —  
плачу в пространство,

и плача,

сбитой походкой, пешком в бесконечность, —  
в даль,

где темнеет плаха.

**Олег ВАЩАЕВ**

Родился в 1970 году в городе Норильске.  
Молод, талантлив, музыкален.  
Философичен, как его стихи.

Предчувствие дождя,  
предчувствие дороги...  
Зовущие глаза

твои

печальны так.  
А я твержу одно:  
еще не вышли сроки  
любить и принимать  
на веру

каждый шаг.

Любить и принимать...  
Как просто и как трудно.  
Но нам не привыкать  
обманывать любя.  
Какая в этом суть,  
невольны и подспудно?  
Какая это боль —  
предчувствовать себя!..  
И ничего не мочь.  
Зовущими глазами  
заплаканная ты  
прощаешься со мной.  
Мы будем вспоминать,  
что было между нами,  
и ты меня простишь,  
и будешь ждать домой.

1995 год.

Я чувствую Время,  
как утром открытую рану,  
когда с пробуждением  
ночной отступает наркоз,  
и крутятся мысли,  
смотрясь в непроглядность тумана,  
сквозь мокрые стекла  
пытаюсь поставить вопрос...  
О чем же спросить  
все, что к посленочному причастно  
движению света  
больным переспавшим глазам?  
О буднях любви,  
о законе взаимного счастья,  
который узнать  
до сих пор не представилось нам.  
А сердце поет —  
терпеливо, открыто, тревожно.  
А тело живет,  
и привычно, беззлобно грешит.  
И я уверяю себя  
в том, что жизнь осторожна,  
и чувствую Время —  
открытую рану души.

1991 год.

Перестань... О надеждах не нужно  
говорить, а, тем более, плакать:  
это просто еще одна очередь  
ожидания временных благ.  
Это просто еще одна очередь  
объяснения жизненных знаков —  
отстоишь и по-своему выверишь,  
что скрывал непредвиденный знак.  
Не грусти. Одиночества стоят  
только самые крепкие связи,  
а взаимное счастье находят  
те, чьи души увидели свет.  
Но для этого важно хотя бы  
быть действительно честным в отказе  
от простительной слабости к славе  
и нестоящих легких побед.

1992 год.

Уведи меня, месяц,  
тропой бесконечной ночи  
к затаенно-молчащим созвездиям,  
с детства знакомым.  
Я хочу ощутить,  
как во времени

пламя свечи

повторяет себя, вечно ясное,  
снова и снова.  
Я увидеть хочу,  
как в горящей вселенской пыли  
начинаются новые судьбы —  
причины свечений.  
Как в высоком космическом небе  
летят корабли,  
и незримо для нас  
с нашим миром вступают в общенье.  
Этот мир с тем и создан,  
чтоб каждому дать по судьбе.  
Но в обратном итоге,  
нередко,  
мы сами виновны.  
Чтоб поклясться хоть раз,  
очень важно признаться себе  
в том, что все, кроме Веры  
и в жизни и в смерти —

условно.

Путеводный огонь —  
это сила на все времена.  
Раз доверился ей,  
повинуйся, уверенный в праве,  
что твоя, в том, как жил,  
не такая большая вина,  
если понятый смысл  
ты и после себя не оставил.  
Уведи меня, месяц,  
туда, куда каждый из нас  
попадает однажды,  
прощаясь с испытанным телом.  
Я узнаю себя,  
я прошу себе этот отказ,  
ведь душа ненапрасно  
пронизана вечным и целым.

1991 год.

---

---

## Елена ЯГУМОВА

*Родилась в 1949 году.*

*В Норильск приехала в 1986 году.*

*Ее стихи публиковались  
в "Литературной газете",  
в журналах "Октябрь", "Москва",  
в альманахе "Енисей".*

---

---

\*\*\*

О, страшный город,  
грязный жадный монстр,  
глотающий грехи,  
как ворон падаль,  
во всей красе  
взошедший на помост  
базарной площади  
посередине распада,  
мистических, материальных войн,  
добра и зла, религий и короны.  
Косноязычный рыкающий вой  
по всей земле раскачивает троны.  
По всей земле грядут твои полки  
голодных, жадных, хлеба им — не чести,  
и зрелищ, зрелищ и кровавой мести.  
И царства рушатся,  
вслед зыблются пески.  
Бездомная, безродная толпа —  
пусты, белы миллионные глазницы —  
ведет вас к гибели Полярная Звезда  
зверьем, сорвавшим петли на зверинце.

Осмыслить? Нет.  
Так был же дан урок  
Египта, Вавилона, Рима,  
новейшая история фашизма.  
Но проклят ты от Каина, восток.  
Коварством первопредка заражен  
от льдов арктических до древнего Гезера,  
ты, алчущий без времени и меры,  
самим собою будешь поражен.  
О, брошенные женщины твои,  
униженные старики и дети,  
за их приют я все отдам,

но метят  
и в них камень родственной руки.  
Падут. Иссякнут. Порастут травой...  
Но жертвы их Земля в себя не примет.  
Заказано в ней хоронить безвинных,  
пока Убийца властвует толпой.  
И пусть их кости мреют на ветру  
укором под стенами Града,  
пока он наслаждается нещадно  
библейскими грехами на пиру  
своем последнем...

*Москва — Норильск,  
октябрь 1993 г.*



\*\*\*

Прости, забывчивый, и помяни меня,  
сырой землицей душу запечатай,  
чтоб не тянулась тенью виноватой  
тебя тревожить на исходе дня.  
Не просто, знаю, выжить в темноте,  
когда ознобом сотрясает плечи,  
когда от боли защититься нечем,  
и некому молиться в пустоте.  
И некого окликнуть. Окликнул,  
зачем меня до тайны воскрешенья? —  
скользил и падал в бездну сновиденья  
расширенных зрачков ночных зеркал.  
Там, задыхаясь в собственной крови,  
псам разъяренным раздирая пасти,  
вдруг мальчиком пред Чашею причастья  
сжигал гортань Евангелием любви...  
И просыпался, плакал и стонал,  
да тяжело так, как старики не плачут,  
и печь топил, и прошлое сжигал,  
и дальше жил без веры, наудачу.  
Так не тянись к окну на склоне дня,  
зашторь плотней, трехперстьем запечатай,  
не то среди снегов голубоватых  
вдруг вымотришь забытую меня.  
Не о себе пришла напоминать.  
Не дай мне Бог твоей добавить боли,  
но те, погибшие, за что на них печать  
забвения — посмертная неволя.  
В моих снегах чуть тлеют алтари,  
их восковые тоненькие свечи  
не доживут до утренней зари,  
едва колебля память человечью.  
И не Кедрон, не Гефсиманский сад  
мольбой последней омывают слезы,  
А Енисеем по Таймыру, по морозу  
ведет к Голгофе узников наряд.  
Ты вместе с ними помяни меня.  
Твоя вина перед людьми и небом,  
а я прощаю, причащаясь хлебом,  
вином и светом Вечного огня.

*Норильск,  
декабрь 1994 г.*

\*\*\*

Нагретый аромат тяжелых лилий,  
над синей заводью стояние стрекоз.  
Мне душно от распущенных волос,  
пропитанных подсолнечною пылью.  
Над степью дикий раскаленный зной;  
шершавым шелестом шекочет кукуруза,  
коровы тучею прошли на водопой,  
в блаженной мути по рога огрузили.  
Отфыркивают радугу носы,  
сбивая с толку разъяренных слепней,  
ленивый самолет завис над степью,  
пастух сверяет с ним свои часы.  
И жалко времени, и страшно пропустить  
минуты в этом солнечном мельканье  
и миражей текучее дыханье,  
и камышовым оборотнем — выпь.  
И мальчиков, верхом на лошадях,  
замедленно над травами плывущих,  
и плосколицых идолов, идущих  
за кругом круг на каменных ногах.  
Кто создал их подобием людей,  
лишив их напрочь муки состраданья,  
тем самым обрекая на скитанья  
по циферблату бесконечных дней.  
Их непрерывное кружение таит  
бесстрастную инерцию покоя, —  
не оттого ль среди степного зноя  
от них нездешним ужасом сквозит.  
Им, твердокаменным, должно быть все одно,  
какой им век тоской в сосцы вопьется, —  
слагают зримость и незримость солнца,  
как будто время им подчинено...

*Норильск,  
1994 г.,*

**Галина ЛЕТЯГИНА**

*Ее знают и любят норильские ценители поэзии.  
Она нежна и абсолютно откровенна  
в своих простых и чистых стихах,  
как может быть откровенна женщина,  
знающая, что такое семья и работа,  
что такое грех и счастье.*

У памяти двойная глубина.  
Иди.  
Смотри.  
Ведь все давно открыто.  
Вон там, в углу,  
лежит, лишая сна,  
старухино разбитое корыто.  
А вот цветов,  
так дьявольски чужих,  
мерцают голубые окаемы.  
Смотри,  
порхает мой блестящий стих,  
но это с виду, —  
он ведь неподъемный.  
Нет тайников,  
но темные пласты  
порою вымывает вешней влагой,  
и мне рыдать бы,  
а не просто плакать,  
но нету слез,  
глаза мои пусты.  
Благополучно все!  
Ведь это дурь,  
просить судьбу  
благословить за дерзость,  
чтоб не ловить  
упавшую звезду,  
а доставать душой  
до слов небесных.

\*\*\*

Дуракам закон не писан.  
Звезды в ковшике на дне.  
Выпью воду, будет искра  
божья, может, и во мне.

\*\*\*

Туман сетями выстелил.  
Туман владеет мыслями.  
Плывут деревья стаями,  
проплыли и растаяли.  
Оставили, оставили  
меня в сетях расставленных.  
Я лишь сейчас опомнилась.  
А сердце в сети поймано.  
До сумерек, до полночи.  
Кого просить о помощи?  
Стою и ног не вижу я.  
Не долететь до ближнего,  
ни огонька, ни весточки.  
Плывут, как перья, веточки.  
И звезды не качаются.  
И ночка не кончается.

\*\*\*

Я долго без тебя жила.  
Стакан на краешке стола  
стоял и падал.  
В осколках битого стекла  
как долго я тебя ждала —  
так было надо.  
Ореха сладкого ядро  
и мандарины кожурой  
светили.  
И запах хвои смоляной,  
такой же терпкий,  
как вино,  
мы пили.  
Я втайне мысли берегла,  
что я любить еще могла,  
что я живая,  
но в утро ночь перетекла,  
и обнажились два крыла —  
и так бывает.  
Уходит в сон, в небытие  
прикосновение твоё —  
ожог на коже.  
Ты знаешь,  
я уже не та,  
ты научил меня летать,  
а сам не можешь.

## Ася РУДИНСКАЯ

*Родилась в 1959 году на Таймыре.  
Окончила Восточно-Сибирский государственный  
институт культуры. Работает в долганском  
ансамбле песни и танца "Чокуркан",  
живет в п. Хатанга.*

### СВЕЧА ЛЮБВИ

Тайком от ветра, от людского взора  
Свечу любви я в сердце берегла.  
Огнем добра и заревом задора  
Зажглась тобой зажженная свеча.

Но если вдруг в пути настигнет горе,  
От холода спастись не сможешь ты,  
То позови. Сквозь беды и невзгоды  
Я принесу огонь твоей свечи.

И если вдруг свеча твоя погаснет  
И вновь зажечь ее не сможешь ты,  
То помни, милый, что любовь осталась  
От бешено пылающей свечи.

### ВСТРЕЧА

Виновница любви, надежд, отчаяний,  
Виновница ненужных ссор и слез.  
Виновница всех наших бед, печалей,  
За что ж тогда ее всегда мы ждем.  
Придя усталыми с работы иль с похода,  
Ложась на мягкую и чистую постель,  
С волнением мы ждем ее прихода,  
Виновницы бессонных дней, ночей.  
Но я молю, прошу остановиться,  
Не торопитесь, я прошу в слезах,  
Хоть ты пойми, упрямая снежинка,  
Поймите вы, упрямые снега  
Быть может, он меня зовет и верит,  
Быть может, имя шепчет по ночам,  
Я подожду, а вдруг лишь из-за снега  
Не может снова отыскать меня,  
И все ж ложится первая снежинка,  
Идут за ней упрямые снега.  
Скажи, родной, тебе уже не снится  
Любви моей прозрачная слеза?

\*\*\*

Как трудно ждать, когда не знаешь,  
Придет к тебе он или нет,  
Когда в догадках ты теряясь  
Который раз не гасишь свет.  
И снова комната пустая  
Одна. Ложишься на кровать.  
Часы, минуты отбивая,  
Идут, не зная: долго ль ждать?  
Как трудно ждать, когда не знаешь,  
Он — твой? А может быть и нет?  
Но снова вера просыпаясь  
Сомненья гонит, шепчет, верь!  
Ты любишь песни славной Украины,  
Ты любишь образ древней Украины,  
Ты любишь Киев — сердце Украины,  
А я — тебя, посланца Украины.

\*\*\*

В настоящем и будущем времени  
Мне не трудно стихи сложить,  
А гораздо труднее, поверь мне,  
Наше прошлое вновь пережить,  
Потому что в одно мгновенье  
Пролетело оно, пронеслось,  
Потому что в прошедшем времени,  
Видно, что-то произошло.  
Не пойму, то ли память изменчива,  
То ли слезы туманят ее,  
Только песнь о прошедшем времени  
Не слагает мое перо.  
Жизнь моя, не суди меня строго  
И не требуй признанья в любви,  
Ты не бойся, не выйду из строя,  
Хоть какие ты беды ни шли.  
Я не рухну, не съеду с дороги  
И других я с пути не собью,  
Только ты не суди меня строго.  
Как умею по жизни иду.  
Ты не балуй меня удобствами,  
Через реки мосты не клади,  
Дай самой мне, своими средствами  
По тебе, моя жизнь, пройти.

\*\*\*

Как будто все, что было с нами,  
 Происходило в долгом сне,  
 Как будто темными ночами  
 Перебиралась я к тебе.  
 К тебе, не зная, не гадая  
 Каким ты будешь наяву,  
 Я шла с закрытыми глазами  
 Переиначивать судьбу.  
 И вот прошел тот сон прекрасный,  
 Снег растопил прозрачный дух,  
 Но облик твой со мной остался,  
 И голос твой ласкает слух.  
 На теле след твоих объятий,  
 Прикосновенья нежных уст,  
 Осталась радость. Но не понятна  
 Вдруг появившаяся грусть.  
 Я не пойму, откуда тени,  
 Откуда выползла печаль,  
 Откуда все они слетелись,  
 Как воронье на жалкий прах?  
 Неужто все исчезнет разом?  
 И мы друг друга не найдем?  
 И не сойдутся наши взгляды,  
 Не возвратится больше сон?  
 Но неужели в этом мире  
 (О нем ведь "тесен" говорят)  
 Тебя, мой милый, не увижу  
 И не сумею вновь обнять.  
 Придется молча, без стесненья  
 Поцеловать твою ладонь.  
 Неужто это невезенье  
 Не в силах мы перебороть?

\*\*\*

Ты, наверно, думаешь, тоскую?  
 Ты, наверно, думаешь, грущу?  
 Нет, родной, как видишь, я целую  
 Руку огрубевшую твою.  
 По утрам с тобою просыпаюсь,  
 Обнимаю голову твою,  
 Я к тебе всем телом прижимаюсь,  
 Как всегда под нос тебе пою.  
 Нет во мне ни грусти, ни печали,  
 Все во мне смеется и шалит,  
 Словно мы с тобой не расставались,  
 Ты во мне останешься всю жизнь.  
 Ты во мне и в радости, и в горе,  
 Ты во мне и в стужу, и в жару,  
 Я в пути, а ты идешь со мною,  
 Ты живешь и я с тобой живу.

1985 г.

ИНЕ

Поет пурга о милом крае,  
 О доме теплом и родном,  
 Поет мне песни по-шаманьи,  
 Поет и воет за окном.  
 А где-то там, в суровом крае,  
 Среди снегов, среди тревог,  
 Живет Ине моя родная  
 И для детей одежду шьет.  
 И песни матери я слышу,  
 Тревогу в сердце я таю,  
 Ее родной я образ вижу,  
 Тот образ в памяти храню.  
 Я помню нежность твоих песен,  
 Улыбку светлую твою,  
 Твои дела, твою заботу  
 В своем я сердце берегу.  
 Я к Небу, Солнцу обращаюсь:  
 Пускай услышит мать моя,  
 Как дочь ее по ней скучает,  
 Печаль в своей душе тая.

1979 г.

г. Улан-Удэ.

## СИЛА МАТЕРИНСТВА

Почему, когда сердце тоскует  
 По далеким, родным местам,  
 Когда дождик разлуку диктует,  
 Ты зовешь ее: мамочка, ма!

И когда на заснеженных даях  
 Рядом с ней ты сидишь у огня,  
 Ты грустишь и, печаль не скрывая,  
 Вновь зовешь ее: мамочка, ма!

Когда годы тебя упрекают,  
 Что о жизни подумать пора,  
 В дальний путь уходить собираясь,  
 Ты прощаешься: мамочка, ма!

Вот уж сын твой, на свет появляясь,  
 Заставляет кричать и стонать,  
 Вдруг о матери ты вспоминаешь,  
 Тихо шепчешь ей: мамочка, ма!

Видно есть в матерях наших сила,  
 Хоть в каких бы ни жили краях,  
 Нас найти и с любовью ревниво  
 Наши судьбы от бед охранять.

1982 г.

п. Хатанга.



## БЫЛО ДЕТСТВО

У всех оно было...  
Только разное было оно,  
И оно в нашей жизни было,  
Как в цепи золотое звено.  
Мое детство — счастливые годы.  
Помню братьев, сестренку своих,  
Помню птичек, совсем возле дома  
Свивших гнезда для деток своих.  
А еще помню чум наш высокий:  
Дерна крепко прижали полы,  
И очаг из камней посередке,  
И котел был повешен над ним.  
Мне запомнился запах березы —  
Как у нас говорят, тальника,  
Как у всех лились горькие слезы  
От его озорного дымка.  
Нас — детей — по тальник отправляли,  
Обвязавшись ремнем от седла,  
Мы бежали туда без оглядки,  
Где погуще растет тальника.  
Будь то снег или солнце, неважно,  
Только б ловкость свою показать:  
Вот, мол, видите, сколько березы  
Нарвала я, меня не догнать.  
Не забудутся детские годы,  
Хочешь чаще о них вспоминай,  
Только пусть на земле нашей горя  
Не увидят ребячьи глаза.  
Пусть играют они в догоняшки,  
Строят чум из песка, из камней,  
Собирают цветные стекляшки  
И пускают бумажных змей.  
Я прошу, охраняйте детство,  
Берегите его от невзгод,  
От ударов неожиданных, от бегства,  
Пусть оно без болезней живет.  
Ведь оно превращается в память  
И в твоей затихает груди,  
Как снежинки, мгновенно растаяв,  
Превращаются в капли воды.  
Только вот, когда холод настанет,  
Вновь вода превращается в лед.  
Наше ж детство, вдали растаяв,  
Не воротится вновь, не придет.  
И когда мы все вместе,  
Пусть же летом порой  
Комарье заедает,  
Нас не тянет на юг,  
В город нас не тянет.

1983 г., ноябрь.

*братишке Ивану...*

УТОНУЛО СОЛНЫШКО  
В ТУМАНЕ

Утонуло солнышко в тумане,  
Закричала женщина: “Беда!  
Я вчера велюровое платье  
Поносить подруге отдала!”  
Заревела девочка за мамой:  
“Я слоненка бросила — беда!  
Мой дружок заблудится в тумане,  
Поскорее дайте мне фонарь!”  
“Утонуло солнышко в тумане...” —  
Грустно буркнул маленький пацан  
И пошел игрушечным наганом  
Солнышко тонувшее спасать.

**Виктор ВОЩЕНКОВ**

*Родился в 1944 году на Смоленщине.  
Работал в Якутии, в Таджикистане, на Ямале,  
в Красноярске, в Калининграде. Член Союза  
журналистов России. Печатался в газетах  
и журналах. Автор поэтического  
сборника "Три судьбы". Живет в Дудинке.*

**ГРУСТНАЯ СКАЗКА**

Край родной, что случилось с тобою?  
Отчего не могу я без слез  
У заросших травой водопоев  
Видеть чахлые гривы берез?  
Почему сиротеют деревья,  
Как душа — без любви и добра.  
И зачем отпевают деревню  
Мне сегодня лихие ветра?  
Здесь когда-то средь яблонь и вишен  
Пахло медом, малиной, травой,  
И под ветхой замшелюю крышей  
Добрый сказочник жил — домовой.  
Лошадям путал гривы в конюшнях,  
А порой из ночной тишины  
Сероглазой уснувшей девчужке  
Приносил он волшебные сны.  
Где весной колосилась пшеница,  
А в заснеженном зимнем лесу  
Удивительно яркие птицы  
На деревьях клевали росу.  
Все исчезло сегодня куда-то,  
Только стонут ветра в камышах.  
И не может смириться с утратой,  
Бесконечно тоскуя, душа...

\*\*\*

Если бы из всех моих желаний  
Хоть одно исполниться могло,  
То давно бы, словно снег в тумане,  
На земле растаяло все зло.  
По весне упругий свежий ветер  
Гнал бы от людей невзгоды прочь,  
И дружили лебеди и дети,  
И ни разу не болела дочь...

Алле...

Простишь ли ты за то, что столько лет  
Стучаться мне пришлось в другие двери,  
Когда, казалось, я и сам не верил,  
Что наконец-то отыщу твой след.  
Я знал, что ты живешь в чужой стране,  
Такой красивой недоступной птицей...  
Но перейти заветную границу,  
Хоть ты кричи, не удавалось мне.  
Тебя весной встречали зеленыя,  
Будили на рассвете электрички,  
Все было у прекраснейшей москвички,  
Все, только, к сожаленью, без меня.  
А здесь у нас метели шли стеной,  
Чтоб под июль, раскалывая льдины,  
Как будто пар кипящей оленины,  
Рванулся на поверхность дух земной.  
Где гордый хор, победу протрубя,  
Нес в белый край весенние туманы...  
Все это было, было, как ни странно,  
Но почему-то было без тебя?  
... И все ж я верил, что к тебе приду,  
В твой город с золотыми куполами...  
Да вот беда, что мы не знали сами —  
Приду — на радость или на беду?

**СОНЕТ**

Матери...

Чем дальше ухожу я от земли,  
От глаз твоих, до боли мне знакомых,  
Тем ближе сердцем чувствую вдали  
Печаль полей средь золота соломы.

К глазам родным морщинки пролегли,  
Как ручейки в преддверье ледолома.  
Идет весна, и скоро журавли  
Встревожат память о забытом доме.

Вновь обожжет прохладною роса,  
Утонет солнце в разноцветье вишен,  
И я вернусь в свой дом, где родился,  
Где детства дым качается над крышей...  
Так отчего же грусть в твоих глазах?  
Наверно, оттого, что сын не пишет.

**А. А. СИНЮТКИНУ —  
человеку трудной судьбы**

Когда душа устанет от страдания,  
У прошлого пощады не моля,  
Опять идем к тебе мы на свидание,  
Беда и боль — Норильская земля.  
Идем на рудники, в цеха плавильные,  
Спешим туда, где память давних лет  
Теперь покрыта мерзлотой могильною,  
Травой и талом смотрится в рассвет.  
И лишь порой по задремавшим улицам  
Она бредет куда-то, затаясь,  
Как на свободу вышедшая узница,  
Не верящая в радость бытия.  
Все в памяти живет — ветрами, дымом ли,  
Рекой Норилкой, шорохом травы  
И теми дорогими и любимыми,  
Что плачут по погибшим и живым...

В ГОРАХ

Вновь отгорела осень медью, золотом...  
И молкнет вся природа не дыша,  
Как чье-то сердце, в ожиданье холода,  
Как чья-то очень хрупкая душа.  
И только скалы эти красногрудые  
Уже сегодня могут рассказать,  
Как загорятся в тундре изумрудами  
Зимой глухою волчье глаза.

ПРИЗНАНИЕ

Пахнет тундра морозом и инеем,  
Свежим мартом и ранней весной,  
Той весной, где глаза твои синие,  
Как два неба, взошли надо мной.  
И пускай по-полярному стылая  
Замела нашу встречу метель —  
Не беда, я вернусь к тебе, милая,  
И цветами укрою постель.  
Губ коснусь первым робким подснежником,  
Разожгу за окошком звезду,  
И к рукам твоим, добрая, нежная,  
Я усталой душой припаду.  
И пускай вьюги яростно бесятся,  
Свежий март снова бродит в крови,  
И весна — ворожея-предвестница —  
Что-то шепчет о давней любви.

\*\*\*

Когда в душе угрюмый мрак,  
А в сердце день глухой, осенний,  
Забросив за спину рюкзак,  
Иду я в тундру за спасеньем.  
Но видно зря найти хочу  
Я очищающую реку —  
Когда душа, как старый чум,  
Пустым пуста без человека...

\*\*\*

Как горько то, что в нашей суете  
Давно не замечаем за делами —  
Печали солнца в черной высоте  
И озера, зажатого горами.  
Того, как ветер в тальниках грустит,  
Как сиротеют души год от года...  
И эту боль, наверно, не простит  
Нам ни за что родная мать — природа.

\*\*\*

Север мой, ты жизнь моя и молодость,  
Снег искрится сотнями огней...  
Я люблю в вечерний час по городу  
Побродить с собой наедине.  
А потом с тоской неодолимою  
Позвонить, обиду не храня,  
И спросить: "Ну как тебе, любимая,  
Хорошо живется без меня?"

\*\*\*

Не знаю я, была ли эта осень,  
Когда весь мир принадлежал двоим?...  
И по горам стекала с неба просинь  
В озера, в реки... и в глаза твои.  
И где тут правда? Или, скажем, небыль?  
И как обратно прошлое вернуть?!  
Чтобы, напившись утреннего неба,  
В глазах твоих вечерних утонуть...

\*\*\*

Сгорало небо в сполохах рассветов...  
Над озером, в смородинной крови  
Я пил весну, хотя и было лето,  
Мою весну нечаянной любви...  
Зовущих губ знобящая прохлада,  
Тревожный август, ветер во хмелю...  
И робкое, молящее "Не надо",  
И нежное, чуть слышное "Люблю".

\*\*\*

Когда, в закат сходя, седая ночь  
Над озером встревоженно клубится,  
И гордый хор с тропы уходит прочь,  
Чтоб за рекой от выстрела укрыться.  
Когда, пощады больше не моля,  
Мы ищем для спасенья свою реку,  
Подобно лайке брошенной, земля  
Уже не доверяет человеку.  
Поэтому, покуда жив родник,  
И жгут нам душу искры иван-чая,  
Пора понять, что только мы одни  
За все на этом свете отвечаем.

ПОСВЯЩЕНИЕ А. В.

Недосыпать, недоедать, работать,  
Не думать о ночлеге и тепле,  
И до конца пожизненную подать  
Платить своей поруганной земле.  
Чтобы однажды в редкий час покоя,  
Когда нежданно одолеет грусть,  
Увидеть мог, как опадает хвоя  
И синеву роняет в реки Русь.  
Где белой ночью вязкие туманы  
С зарею поздней стынут в камышах  
И тихо плачет музыка баргана,  
Как чья-то очень хрупкая душа.  
Чтоб жили мы с рассветами, с травой  
С печалью наших затаенных рек,  
И мать-земля свое тепло живое  
Тебе опять вернула, человек.  
Чтобы сердцем слышать крик тревожный птицы,  
И под дымок походного костра,  
Ты ощутил, как стала серебриться  
Дней золотых волшебная пора...  
...И может от таких неясных мыслей,  
От хрупкости и смуты бытия,  
Когда сохатый выбежит на выстрел,  
Рука впервые не возьмет ружья.

\*\*\*

Ну, где тут сердцу не растаять,  
Когда горят, как бирюза,  
Огни отеческого края  
И нежных северных красавиц,  
Любовь познавшие глаза.

\*\*\*

Памяти Бориса Молчанова...

Что-то есть в этих долгих ночах...  
То ли зимние духи взбесились —  
Стонут в трубах и гасят очаг,  
Просят, чтобы пока не топили.  
Выйдешь из дому — Млечный Поток  
Веет звездами, светом и снегом,  
И как старой долганки платок,  
На поля опускается небо.  
И такая стоит благодать,  
Что не знаешь, куда себя кинуть —  
То ли сесть и поэму создать,  
То ли краски искать для картины?

\*\*\*

Памяти земляков-таймырцев...

Нас нет давно. Мы все — трава и лес,  
Плач журавлей, тоскующих о лете,  
Шум тальника, волны осенний плеск  
И разбудивший тундру свежий ветер.  
Мы — синь реки, рябина у окна,  
Густой туман на стынущих озерах,  
И нужная до боли тишина,  
Которая теперь уйдет не скоро.  
За нас живут и бродят по росе,  
Целуют женщин лучших на рассвете...  
Так почему ж мелеет Енисей  
И об отцах так редко помнят дети?

\*\*\*

Ну кто же ты? Когда пришла? Откуда?  
И как случилось, что в моей судьбе,  
Весенних льдов нечаянное чудо  
Опять тревожит память о тебе.

## СТРАНИЦА ВЕСНЫ

В дни, когда голубые капли  
С ледяных опадают ресниц,  
Ворошу я под песни апреля  
Память давних забытых страниц.  
Снова тянется первый подснежник,  
Доверяясь теплу твоих рук,  
От костра отпотевший валежник  
Пьяным дымом швыряет вокруг.  
Ты со мной, и нет больше вопросов,  
Только руки да губы твои,  
И в глазах, как в озерах раскосых,  
Пляшет солнце для нас, для двоих.

И становится небо бездонным,  
И лечу я опять, как во сне,  
Когда боль лебединого стона  
Дарят губы любимые мне.  
Глаз моих ты коснешься руками,  
Чтобы не видел, кляня и любя,  
Как олень с золотыми рогами  
Вновь на север уносит тебя...  
Память, память. Былинкой под снегом  
Пробуждаешься ты ото сна.  
Пока снег, но по тонким побегам  
Пробивается к жизни весна.

\*\*\*

Дыханье ветра. Запах тальников.  
Глаза озер, впитавшие глубоко  
Стынь облаков, каленый зной жарков  
И плеск волны, тревожащий осоку.  
И терпкий хмель волос твоих густых,  
Родные губы, пахнувшие дымом...  
И если вдруг уедешь снова ты,  
Все здесь умрет от боли нестерпимой.

\*\*\*

Снова к озеру, сквозь колдобины,  
Я с тобой одной выбираю путь,  
Чтоб в глазах твоих заколдованных  
Вместе с озером утонуть.

## МОИ СНЕГА

Недолговечны Балтики снега...  
Еще вчера по выветренным скверам  
Металась бесшабашная пурга  
Большим веселым непонятым зверем.  
А поутру распаренной волной,  
Смывая снег, туман на город хлынул,  
И исчезали, как в немом кино,  
Зимы недолгой робкие картины.  
Снега сошли. Но в сердце все равно,  
Улыбкой детства давнего покоясь,  
Плывут снега под белою луной,  
И спит луна, осев в снега по пояс.  
Казалось бы, прошло немало лет,  
И все ж они хранят, подобно чуду,  
Следы любимой, мой тяжелый след,  
И первый след дочурки нашей Люды.  
Нет, мне никак нельзя их забывать —  
В них есть мой зимник к буровым Ямала.  
Они умели в стужу согреть,  
Когда в пути нас буря заставляла.  
И пусть они хранят, как письмена,  
Тех давних лет нелегкое наследство —  
Следы друзей и даже имена,  
Ну, в общем все, что так тревожит сердце.  
...И вот опять бесчинствует пурга,  
А мне всю ночь, наверно, будут сниться  
Далекий Север, белые снега,  
Зовущие обратно возвратиться.



\*\*\*

Зимняя дорога. Электричка.  
Вновь снега все тропы замели...  
Едет в город к сыну тундровичка,  
Отрывает корни от земли.  
Мимо окон тундра проплывает —  
Гибнущая отчая земля...  
Так бывает — корни отрывают,  
Отрывают, а они болят.

## ПОСВЯЩЕНИЯ

*Галине...*

Проходят зимы и проходят весны,  
До боли просто — никаких чудес...  
И лишь порой в июне — день морозный  
В ладони наши упадет с небес.  
Повсюду та же вечности картина,  
Стон журавля, дыханье родника,  
И так же носит ветер паутину  
По задремавшим в тундре тальникам.  
Так было здесь. И будет, между прочим...  
И все ж в текучке звонких зим и лет  
Подобно чуду, после долгой ночи,  
Мы снова ждем очередной рассвет.  
Ждем, когда, вширь раскрыв свои объятия,  
Вздохнут от снежной тяжести поля,  
И как невеста в подвенечном платье,  
Навстречу солнцу выплывет земля.  
В такое время прозревают люди...  
Вскипают реки... Молодеет кровь...  
И мать-природа в наших душах будит  
К родной земле забытую любовь.  
Любовь несет извечное движенье,  
Врываясь вглубь распахнутой души.  
И самое счастливое мгновенье,  
Как правило, любви принадлежит.  
И может быть, она совсем неожиданно,  
Когда нас жизнь забросит далеко,  
Встревожит души музыкой барганов,  
Живою песней тихих родников.  
Чтоб шелест трав и запах голубики,  
Печаль родной израненной земли,  
До боли в сердце, до глухого крика  
В своей душе мы вечно берегли!

*Валентине...*

Идет весна. В распадках бродит ветер.  
Скользят снежинки с ваших хрупких плеч.  
Ах, если б мы могли снежинки эти  
На память вам о Севере сберечь.  
Найти слова, негромкие, земные,  
Вместившие и солнце, и весну,  
И стынущие реки голубые,  
И утреннего неба глубину,  
Извечный зов долганского баргана,  
Тревожный крик летящих журавлей,  
И те незаживающие раны,  
Что оставляем на родной земле...  
И в этом есть, наверно, жизни мудрость,

И доброта без всяческих прикрас,  
Когда грустит в весенних красках тундра,  
В края иные провожая вас.  
Коль Север наш, обросший мхом, как камень,  
Все те места, где проходили вы,  
Хранит в душе, укрывши тальниками,  
Багулом пряным, шелестом травы.  
И в самых дальних уголках России,  
Хотелось бы того вам или нет,  
Снегами, ветром, ливнями косыми  
Он будет с вами до скончанья лет.  
И если где-то в белом блеске молний  
В окошко стукнет запоздалый град,  
То это Север о себе напомнит  
И позовет вас в прошлое, назад.  
А коль уж станет горько, нестерпимо,  
То ваших добрых удивленных глаз  
Коснется он густым смолистым дымом,  
Чтоб вы, заплакав, вспомнили о нас...

*Наташе...*

Опять снега качаются вдали,  
И облака, как льдины, уплывают  
В твою страну, в тот тихий край земли,  
Где по весне сирени расцветают.  
Где по тебе скучают январь,  
Тоскуют зори на покатых крышах,  
И вызревают рано снегири  
В твой день рожденья на вершинах вишен.  
Где синеву роняет в реки Русь,  
Как тяжкую слезу с твоей ресницы...  
Быть может, оттого и бьетесь грусть  
В глазах твоих, как раненая птица.  
А грусть земли? Кому здесь тяжелей?  
Нам — детям неудачливого века?  
Или родной покинутой земле,  
Страдающей давно по человеку?  
И может потому издалека,  
Щемящей болью отозвавшись в сердце,  
Несет земля нам песни родника,  
Как позывные солнечного детства.  
Она давно зовет нас в старый дом,  
Где и сегодня солнце так же греет,  
И до сих пор за голубым окном  
Каленый жар твоей рябины зреет.  
А в глубине живого родника  
Тоскуют звезды по твоим ладоням,  
И бродит в тишине березняка  
Тревожащая музыка гармонии.  
Где каждым звуком, стоном журавля,  
Глухою безысходною печалью  
Страдать устала отчая земля  
Без ясноглазой девушки

*Наташи...*

## Владимир КАНТАРИЯ

Родился в Грузии в 1946 году.

На Таймыре с 1973 года.

В 1994 году вышел сборник его стихов "Верните мне мое...".

Сейчас живет в Дудинке.

То ли лирика поздняя!  
То ли крик запоздалый?  
Виноградные гроздья.  
Мужчина усталый.  
Неба синь — синева.  
И с полей запах детства.  
От него никогда  
Никуда мне не деться.  
Быстрый бег рыжих лис  
У созвездия Псов.  
Я как будто повис  
В стае бешеных снов.

\*\*\*

Мы живем на вулкане предчувствий.  
Ищем Китеж. И хлещем вино.  
И забыли, что струны от гуслей  
Мы на петли пустили давно.  
Куполами юродиво бредим  
И мочой гасим пламя свечей.  
Отливаем слова мы из меди  
И из золота для палачей.  
Сколько пролито крови во злобе  
Тех, кто встал над собой  
в полный рост.  
Уволок хмурый Некто в ознобе  
Наши души на братский погост.

\*\*\*

То ли голоден мир, то ли тесен.  
То ли солнце над нами ослепло.  
Сколько сжег своих дней я и  
песен  
И пустил их по Северу пеплом.  
Сколько дней на лампы и образ  
Я смотрел в кафедральном соборе.  
Черт давил мне на газ,  
Бог на тормоз.  
Я же глуп был, как истина  
в споре.  
Дар пророка. Но мне он  
не нужен.

\*\*\*

Несчастный день. Бедовая  
раскладка.  
Осенний лист — творение души.  
Чужая боль и ренессанс упадка,  
Как запах камфары из каменной  
глуши.  
Несчастный день, как чья-то злая

воля.  
Сверчок запечный — выцветшая  
грусть.  
Скажи, Господь, за что такая  
доля  
И чью вину не искупила Русь.  
Звонарь и звонница. Естественная  
убыль.  
Меня тошнит покорности позор.  
Когда с рукой протянутою  
Врубель.  
Когда блестит мне фиксою собор.  
Несчастный день, когда глаза  
в закате.  
Любовь в отлучке. Мастер  
в кабаке.  
Когда мороз на стеклах моей  
хаты  
Рисует черта с образом в руке.  
Несчастный день. Озлобленные  
споры.  
Лечу, неся на светлых крыльях  
муть.  
Скупые рыцари и евнухи из хора  
Меня преследуют с претензией  
на суть.  
Несчастный день, уж лучше бы  
не видеть...

\*\*\*

Свет мой померкший, где силы  
мне взять,  
Чтобы тебя на краю отстоять.  
Полночь блаженных. Безумству  
звоню.  
Слева и справа продажное Нью.  
Тянет верста, спотыкаясь, версту,  
Свет мой померкший прикован  
к Христу.  
Птицы без крыльев. Хамье без  
могил.  
Снова мой ангел на небе запил.  
Хлещут ветра и поют сквозняки.  
Хлеб мой по водам. Челнок  
у реки.  
Слово в начале и слово в конце.  
Ворон сидит у меня на лице.

\*\*\*

Захандрю, затоскую,  
Печалью рассыплюсь по снегу.  
Кабаки позабуду  
И лики продажных друзей.  
Окунусь я душой,  
Окунусь я в осеннюю негу,  
Изгоню из нее  
Притаившихся черных зверей.  
Мне теперь по плечу  
И понятнее слезы чужие,  
Одиночество мамы,  
Больничная койка в раю.  
Мне теперь по плечу  
И понятнее всхлипы России.  
Мне теперь по плечу.  
Все теперь по плечу на краю.

---

---

## Дмитрий ВАСИН

*В Дудинке живет с 1976 года.  
После школы окончил  
зооветеринарный техникум.  
Сейчас актер Дудинского народного  
камерного театра юного зрителя.*

---

---

### СВИНЕЦ

На каждую лунку — по капле свинца,  
С пределом пустоты заткнули.  
Я понял, когда остыл до конца:  
Я — пуля!

Я в медной рубашке и медью обжат,  
Нас много, готовых к движенью.  
Я вложен в рожок, надо мной автомат.  
Что рвать нам — тела иль мишени?

С друзьями от гильз отделились легко,  
Со свистом помчались к цели,  
Лететь, оказалось, недалеко —  
Вот в чем-то застрял я теле!

Я в теплое мясо занозой вошел,  
Нашел в нем навек обитель.  
Я — пуля! И сделан я хорошо.  
Я — злобы чужой исполнитель.

\*\*\*

Три этих ночи есть у нас,  
Три долгих ночи.  
Веками длился каждый час —  
Чем миг короче.

А после пошлые слова,  
Пришло похмелье.  
Болит порою голова  
После веселья.

И жара нет — остался зной,  
И грустно очень...  
Меж нами каменной стеной  
Три этих ночи.





## Сергей ЛУЗАН

Родился в 1946 году в Благовещенске.

Долгое время работал охотником-промысловиком на Таймыре. Автор сборников стихов "Волчи звезды" и "Долина семи солнц". Работает редактором телерадиокомпании "Норильск".

## СОМНЕНИЯ ЕККЛЕСИАСТА

Вариации по Книге Екклесиаста, или проповедника

Сказал Екклесиаст, сын мудрого Давида:  
— Я жил и я ушел, Велик Иерусалим.  
Все суета сует. Я был царем и видел,  
как властна суета над помыслом моим.  
Что пользы от трудов?  
Пот выгорит на солнце.  
Проходит старый род, и снова род придет.  
Прекрасная заря осядет звездной солью.  
И солнце совершит обычный оборот.  
И ветер... То несет полночный холод к югу,  
то к северу свернул,  
пропитанный теплом.  
Как зверь затравленный,  
опять идет по кругу.  
Все — на круги свои.  
Таков Земли закон.  
Стремление рек в моря.  
Над морем виснут тучи.  
Несет на сушу их.  
В горах дожди, ручьи.  
Опять в моря. Извечен и заучен  
вздых человеческий,  
вздых трав и вздох земли —  
все движется. Всего не перескажешь.  
И миром не насытятся глаза.  
И не насытятся наш слух  
звучаньем каждым,  
веселье — смехом, горечью — слеза.  
Что было — будет так!  
Что делалось — то будет!  
Под солнцем ничего не ново.  
Суета.  
И станет новым то,  
что забывают люди.  
Так говорю не я.  
Так говорят века.  
Нет памяти у нас.  
И памяти не будет.  
Не будет памяти у тех,  
кто после нас.  
Прими как должное —  
беспамятливы люди.  
Я царь Израиля, — сказал Экклесиаст. —  
И сердце я отдал,  
испытывая мудрость.  
У смертных дела нет

сложней и тяжелей.  
Над свитками встречал  
светильниками утро.  
И это суета! Все суета людей.  
Кривое никогда не делается ровным.  
И если нет чего — того не сосчитать.  
Я возвеличился, но мудрости корону  
надел я для того,  
чтоб горечь званий знать.  
Я ошутить решил безумие и глупость.  
Познал. И что? Все это суета!  
Томленье духа. Улыбаюсь скупю.  
У знания — печали старика.

## ПАДЕНИЕ НИНЕВИИ

По книге пророка Наума

Грядет святая месть,  
месть пламени и Бога.  
Он долготерпелив,  
но прах от ног Его —  
и стонут облака  
над вечностью дороги.  
И смерч, и шквал несет  
в забвение врагов.  
Васан, Кармил увял.  
Чернеет сад Ливана.  
Из горла гор, дымясь,  
не реки — хлынет кровь.  
Он взглянет, и земля  
колеблется в тумане.  
Он взглянет, и звезда  
во мгле теряет кров.  
Я в Нём найду  
убежище в день скорби.  
В Нём разума ладонь  
священный хлеб найдет.  
Но беспощадна месть,  
и город горя гордый —  
падет Ниневия,  
и с нею враг падет.  
Что жалкий умысел  
склонившихся над бездной?  
Сплелись между собой.  
Ниневия пьяна.  
Так говорит Господь:  
"Ниневия исчезнет —  
и больше не взойдут  
Ассура семена".  
Я вижу там, в горах,  
спешит к нам благовестник.  
Он возвещает мир.  
Твой праздник, иудей!  
Исполни свой обет —  
долг доблести и чести!  
Хвала Создателю!  
Любовь земле моей!

\*\*\*

Падет Ниневия!  
 Из пепла встал Иаков!  
 Сожженная лоза  
 в стрелу превращена...  
 Я вижу — лижет кровь  
 бездомная собака,  
 там, где сгорает сад  
 и рушится стена.  
 Падет Ниневия.  
 Поднимется Израиль.  
 Одежды воинов  
 окрасила заря.  
 К Ниневии летят  
 черны вороны стаи,  
 и черной копотью  
 подернулась земля.  
 Падет Ниневия.  
 Грохочут колесницы.  
 Взывают к храбрым —  
 храбрых больше нет.  
 Они уже бегут.  
 В пыли и в горе лица.  
 Ворота рушатся,  
 и гаснет солнца свет...  
 Ниневия — раба,  
 как голубь, в клетке стонет.  
 Плен. Рабство и позор.  
 Она разорена.  
 Где логовище львов?  
 Где гордый дерзкий воин?  
 Меч львов пожрал,  
 и кровь пьяней вина.  
 Так Саваоф сказал.  
 Я на тебя с отмщеньем!  
 Сожгу то пастбище,  
 где львица кормит львят.  
 И превращу послов  
 твоих  
 в пустые тени.  
 Пусть голоса послов  
 заселят мертвый сад.  
 Смерть городу кровей!  
 Чад горя и убийства.  
 Тяжелый стук колес  
 и хлопанье бича.  
 Несется конница.  
 Звон копий серебристых.  
 И каждое копьё —  
 священная свеча.  
 Ниневия — развратница,  
 блудница.  
 Искусство подлости.  
 Яд лживой чистоты.  
 Народы, племена  
 вела под колесницы.  
 Пришло возмездие.  
 Сейчас погибнешь ты.  
 — Я на тебя иду!  
 Сорву с лица покровы  
 и в мерзости швырну.

Жри и глотай позор! —  
 так говорит Господь!  
 Ниневия исчезнет,  
 презренная,  
 от моря и до гор.  
 Чем лучше, жалкая,  
 Была ты Но-Аммона?  
 Ему моря стеной.  
 Ему слугой Египт.  
 И Эфиопия несла дары со стоном.  
 Но гибнешь ты,  
 и Но-Аммон погиб.  
 Вельможи скованы.  
 О знатных брошен жребий.  
 Младенцев головы  
 на мертвых площадях.  
 Тебе песок каленый  
 вместо хлеба.  
 Зло порождает зло.  
 Убийцу не щадят.  
 Народ как женщина.  
 Врагам ворота настезь.  
 Ниневия уже обречена.  
 Огонь — любовник  
 смерти и ненастья.  
 И в пламени  
 расколота стена.  
 Купцы, как саранча,  
 и гусеницы судей  
 в тебе кишки —  
 нынче где они?  
 Князьки, как пауки,  
 держали нити судеб.  
 Что!? Кандалы для них  
 не велики?  
 Герои битв, похожие  
 на мошек.  
 Чуть холодно —  
 попрятались в щелях.  
 Ничтожно воинство,  
 которое вскормили  
 власть беспредельная,  
 тупой приказ и страх.  
 Спят пастыри твои.  
 Покоятся вельможи.  
 Народ рассеялся, и некому собрать.  
 И жизнь, которая  
 уже на смерть похожа,  
 нет смысла больше продолжать.

1991 год.

Таймыр.

### ИЗ НЕВИДИМОЙ КНИГИ

Ничего за душой —  
 только рваные строчки  
 да полночь с глазами Христа.  
 Да обвалы, в которых гремит,  
 кувыркается собственный череп.  
 Нет лица.  
 Все в лохмотьях.



## ГУСАР

Когда лед заматерел, я собрался гостевать. От моих Медвежьих ручьев до кордона заповедника Путоранский почти сто двадцать километров и почти по прямой. Конечно, все зависит от морозов. Чуть оттепель вздохнет — тут тебе и наледь прет из ручьев, а ручейки-то горные. Вляпаться на снегоходе в наледь — дело обычное, ежели на ногах новые химзащитные боты или сапоги, что один хрен, лишь бы ноги не промокли, но влетать через каждые два-полтора километра, а потом выковыривать изо льда в одиночку четверть тонны железок да еще со льдом — штука очень неприятная.

Пришлось мне однажды сто двадцать километров восемнадцать дней на "Буране" елозить, а потом все равно его бросил и еле-еле добрался с другом до кордона пещочком. Да у кого из нашей братии ноги да морды не мороженые?!

Дело было в начале декабря. Озеро сияло в последних косях каплях солнца. Лед сиял. Заструги сияли. В это время не только снег, даже перо куропатки становится розоватым. И в марте-апреле то же самое. Снегоход шел на удивление хорошо, ровно, и часа за три я уже был на перемышке возле речки Озерной. Дальше Дюпкун уходил в ущелье Путоран. Ветер свистел, как из форсунки, и поэтому ровненький лед исчез и образовалась поверхность вроде стиральной доски. Скорость пришлось сбросить. Легкие нарточки бросало, как перышко — боялся, развалится. Нарты деревянные, под собачью упряжку. А на нартах всего-то ничего: фляга бензина, да литр самогона, да пяток пресных лепешек, да зайчатина... Лихо шел "Буран". Так, с ветерком и докатился до распадка речки Наледной, которая впадает уже в Хантайское озеро. По этому распадку можно побродить — есть кое-что. До кордона оставалось чуть больше часа езды. Солнце ушло в морозный зернистый туман. Снежные пылинки затяжелели. Вроде и не снег, а все-таки следы присыпает тоненьким слоем, как иногда у стариков пыль времени присыпает морщины. Скалы, листовницы в такой снежной пыли кажутся еще таинственней и сказочней. Скалы и свобода...

И вдруг в этом тумане я увидел телянка лося, а может быть, и оленя. Решил чуть придавить на газок снегохода. Животное спокойно уходило из распадка через озеро в Эвенкию.

Полоса тумана неожиданно закончилась, я глянул — и заиграл в каждой мышце веселый ветер. Волчара... Да какой волчара! Гусар! Огромный. Поджарый. Красавец! Волк резко развернулся и расстелился, прямо расстелился над застругами, пытаюсь уйти по снежному следу обратно в тайгу. Он расстелился в полете, морда развернулась в мою сторону. Пасть чуть оскалена. Я дал "Бурану" газу на полную катушку. Железо жалобно заскрежетало по стиральной доске. Расстояние между мной и волком медленно сокращалось. Я уже чувствовал, что перехвачу его на мыске возле поваленного листвяка. Ему не уйти. Карабин в чехле на капоте снегохода поблескивал прикладом. "Эх, повезло", — только и успел подумать я.

Какой-то дикий прыжок. "Буран" улетел в одну сторону. Я долго и медленно летел в другую. Меня поволокло плечом по чистому льду, и все. Шею не повернуть. Воткнулся головой в тугую снежную надув. Летал недол-

го. "Буран" еще дергался на боку. Черная точка зверя мелькала в береговом тальнике. Стекло снегохода вдребезги. Поташнивало и качало. Щека и лоб горели. Пошупал. Кровь и явный отек. Хорошо приземлился. Могло быть и похуже. За дело получил. Никогда, даже в мыслях нельзя считать свободного зверя добычей. Он ведь это чувствует и, может быть, даже умеет крутануть своего противника взглядом.

Добрался до кордона угрюмо и спокойно. Не злился, а просто ехал и ворчал.

Да, подъезжал к кордону в сумерках... Собаки Володи Кожемякина встретили, как обычно, лаем и визгом. Жена Володи Тамара купалась в это время в проруби. Володя Кожемякин — крутой мужик, метра два ростом. Его ладонь — две моих. А вообще добрый и хитроватый тундровик. И абсолютно честный, хотя не всегда ладил с законом. Не вижу в этом никакого противоречия. Знал да и знаю о многих сволочах, которые с законом умеют ладить, а нам, простым мужикам, от сумы да от тюрьмы зарекаться нет резона.

Люблю я гостить у Кожемякиных. Избу он построил огромную и теплую. До потолка два с половиной метра. И баньку хорошую сварганил, гараж приличный под четыре снегохода, а ледник построил на зависть. Все добротнo, тяжеловесно. Я пытался взять на себя бревно, из каких он строил избу... Только пытался... Бесполезно.

Выпили мы с Володей самогон. По-мягкому захмелели. Закусили пельменями. Тамара стряпала... И я до поздней ночи все ворчал — не мог успокоиться, что еще одного волка упустил. Однако, какие наши годы...

История Гусара застольем не закончилась. Видать, волчара был уже обречен, и не потому, что одинок, а потому что Судьба. Прошло всего два с половиной месяца. Над Путоранами качался февраль.

Под вечер Тамара Кожемякина оделась легко. Она не только каждый день купалась в проруби, но и бегала до противоположного берега и обратно — всего километра два по утрамбованному ветром снегу. Тамара вроде бы тихая, спокойная: читает Сергея Радонежского, Библию, Флоренского, но я всегда поражался ее физической выносливости, упорству и даже непреклонности.

По озеру прошло стадо оленей, буквально за час до пробежки. Володя Кожемякин лег отдыхать. Он с утра кряжевал плавник и порядком устал. Тамара бежала легко и привычно. Единственное, что мешало, — бинокль. Футляр с биноклем бил о бедро, и это раздражало. Когда добежала до Красной скалы и повернула к дому, за мысом, за тем мысом, где стоял кордон, она увидела черную точку. Сначала Тамара подумала, что это человек. Глянула в бинокль — волк. Да не просто волк, а здоровый волчара. Она сразу же подумала о Гусаре. После моего рассказа Кожемякин бредил этим зверем. Он лазал по ущельям, ездил вдоль границы заповедника до водопада — все искал встречи с матерым зверем. Гусар исчез и не появлялся. И вот он! Тамара сначала обрадовалась, но Гусар ее явно заметил и стал стремительно приближаться, отрезая от дома.

Прошиб холодный пот. Она рванулась к избе из последних сил. Сначала кричала: "Володя-я-я! Володя-я-я!", а потом только один сплошной крик: "О-о-о-а-а-а!"



Что уж тут? Видела, что пришел конец и радостям и бедам. Жутковато стало.

Володя Кожемякин лежал на кровати и листал старые журналы. Хорошо, что приемник был выключен. Сквозь бревна избы словно просочился далекий крик: "Воло-о-о-о-а-а!" В морозном воздухе было градусов сорок, крик вроде раскатывался на множество мелких кристаллов. Володя накинул маскхалат прямо на свитер, сорвал с гвоздя карабин и выскочил на улицу. Между далекой фигуркой жены и Володей летел над снегом Гусар, летел над снегом волчара, с которым он так долго искал встречи.

Хорошо, что "Буран" завелся сразу же. Волк услышал рев мотора. Остановился. Снегоход заглох. Волк чуть постоял и уже медленней пошел к Тамаре. Рывок стартера, еще рывок. Мотор снова заурчал. Волк резко развернулся и пошел на махах к распадку Гагарьей. Слишком далеко. Стрелять сложно. Над озером стоял низкий туман. Снегоход вспарывал и тишину, и туман со скоростью шестидесяти километров в час. Расстояние между волком и Кожемякиным медленно сокращалось. Но черт возьми! Снова крутые заструги на льду. Володя чуть не слетел со снегохода. Пришлось резко сбросить скорость. Гусар снова стал заметно удаляться. Он уходил красиво: оскалив пасть, распутив свой огромный хвост. Казалось, лапы почти не касались плотного наста и зверь не бежал, а плыл, извиваясь в белом тумане. И странно отчетливо было слышно его дыхание. Гусар уходил в распадок.

Разрыв увеличился до полутора километров. И тут зверь не выдержал, свернул в лес. Полоса крутых застрогов закончилась, и снегоход снова набрал скорость. Волк застрял в рыхлых сугробах... Восемьсот, двести, сто пятьдесят метров. Еще немного. Кожемякин сходу влетел в лес. "Буран" поплыл в снегу. Газ сброшен. Карабин выхвачен из чехла. Шарах! Волк закрутился с перебитой лапой. Еще выстрел. Пуля срикошетила от скалы и с визгом ушла в кустарник. Еще выстрел. Зверь изогнулся, дернулся и воткнулся крутым лбом в снег. Готов. Гусар лежал... Огромный и неподвижный.

Кожемякин медленно, вразвалочку подошел. Ткнул стволом карабина в оскаленную пасть. Волчьи глаза остывали, как далекие звезды Ориона. Тело Володи бил холодный озноб. Это был уже не азарт, а просто холод добрался до суставов. Впопыхах Кожемякин натянул валенки на босу ногу, тоненькие брюки, свитер, маскхалат — и все... Минус сорок да еще и на скорости — не только до костей продрогнешь, кровь замерзнет.

Кожемякин погрузил Гусара на снегоход. Морда зверя волочилась по земле, задние лапы тоже. "Буран" под тяжестью осел.

Тамара сидела в избе, уставившись молча на огонек керосиновой лампы. Глаза влажно блестели. Губы еще чуть подрагивали от пережитого. Кожемякин свалил зверя с плеча. Он тоже молчал. Рычал только пес Кучум, обнюхивая волка. И было в этом рычании и недовольство хозяином, который не взял его на охоту, и уверенное спокойствие зверовой, рабочей лайки. Длина шкуры Гусара, без хвоста, была два метра двадцать сантиметров.

Такие зверюги на Таймыре встречаются редко, но пока еще встречаются. Я почему-то Володе Кожемякину даже не завидовал. Да, добыл великолепного зверя... Да, шкура классная... Все это бывает. Самое главное — Тама-

ра жива осталась. Хорошо приходиться к ним в гости. Володька рыбки настрогает. Тамара пельменей наварит. Сядем мы за стол. Выпьем по чарке. И начнем вспоминать. Нам с Володей и Тamarой есть о чем вспоминать. А-а! Жизнь человека — это память и немного надежды.

## УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА

Последняя осень на Дюпкуне была славной. Дюпкун вообще прекрасное озеро. Насчет промысла там слабовато, но природа по таймырским понятиям райская. В первых, туда еще не доходит норильский газ. Снег чистый, вода чистойшая. Курейка попадает в горный разлом Путоран и превращается в озеро Дюпкун. Курейка — это и есть граница между Таймырским автономным округом и Эвенкией. Моя база стояла на Медвеьем ручье.

Погода обычно менялась, когда ветер тянул с Эвенкии. "Облака с Эвенкии, с озер серебристых Эндэ..." В эту осень небо после ледостава стало ясным и высоким. Зима медленно и равномерно набирала силы. Пора заинтересованных рьянников, клестовых стай и первой охоты. Мех соболя уже поспел, но песец еще не выкатался, не выгулялся, хотя и шел хорошо. Весь берег был истоптан его следами. И мой пес-лайка Соболев резвился, загоняя песцов на узкий мысок. Между коренным льдом и берегом еще парила полынья. Около этой полыньи стояли бочки с привалой и здесь же на стеллаже лежала рыба. Песцы крутились постоянно, а Соболев их давил очень легко. Цапанет песца за хвост и крутанет его вверх. Песец даже куснуть его не успевает — клац, и песец готов. Я даже по утрам перестал его отпускать. Сначала сам пробежусь до полыньи — поплескаюсь, а потом уж и пса. Незачем зверька почем зря давить.

Через недельку песец почти прошел на юг, точнее — по озеру на северо-восток и на юг по Нерюнде. Пса я стал отпускать свободно. Он вообще жил у меня в снегу, и только в морозы я разрешал ему скребануть лапой по двери, насчет этого у нас с Соболевым была четкая договоренность. Отпускал я его свободно по двум причинам: Соболев по соболю вообще не работал. Нюхнет след. Брезгливо дернет губой. Фыркнет и ляжет. Иногда делает вид — вроде бы что-то роет в снегу. На собачьем языке это означает: "Отвали, дорогой, я делом занят".

Да, Соболев по соболю не работал, а вот по крупному — по росوماхе, по медведю, по оленю — ему цены нет. Он ни черта не боится, смело идет в атаку. Шерсть дыбом. Глаза горят. Сам на себя не похож. А вообще это добродушный, спокойный, нормальный пес, правда, весь в шрамах: очень любезен с девчонками всех пород и очень агрессивен по поводу кобелей.

Короче говоря, выпустил я Соболюху поутру, а сам чаевничаю спокойно. И еще я одну деталь не уточнил. Жил я на бугре в новой избушке, а старая избенка стояла впритык к урезу воды, метрах в ста пятидесяти от верхней.

Пью чай, слышу — Соболюха лает. Да не как обычно на песцов — на песцов он лает и вроде бы от смеха повизгивает. По медведю он рычит, хрипит и только во время прыжков издает вопли. По оленю это равномерный рабочий лай, без суеты и натуги.

Соболюха лаял как-то яростно, зло и в то же время с опаской. По интонации чувствовалось. Кто жил с псом



бок о бок по несколько лет в одной избушке — тот эту интонацию сразу улавливает. Я подумал: "Ну вот, загнал матерого пса на крышу нижней избы, по сугробу, а тот не дается и уже успел Соболюху грызнуть". Сажу, пью спокойно чай. Соболюха заливается... "Может, все-таки молоденькую росомашку загнал", — думаю. Надо одеваться. Ну, накинул на себя теплую куртку и, как был в тапочках, так и пошел по тропинке к нижней избе. Прихватил, конечно, с собой мелкокалиберную — не брать же карабин по пустякам. Вообще мелкашка у меня была далеко не новой, хотя я ее берег и выглядела она вполне прилично. Единственное — усиленные патроны, вернее — гильзы, выбрасыватель захватывал, а вот обычные довольно часто оставались в стволе. Бывает. Промысловикам достается не всегда новое оружие.

Только поднялся на бугор, увидел картину, от которой опешил. Около нижней избы пень. Около пня, прижавшись к нему задом, чуть присев на лапы, стоял огромный волчара. Потом я измерил его спокойный шаг... В пасти волчара держал замерзшую шкуру оленя, которого я положил пару дней назад. Соболюха близко не подходил. Он облаивал волка метров с десяти, не давая ему отойти от пня, делая неожиданно угрожающие броски. Красивый волчара. Конечно, не белый, а беловатый с рыжиной, но красив.

Если бы мне кто рассказал о том, что лайка держала полярного волка, я бы никогда не поверил. Медведя — понятно, росомашу — тоже, но волк — этот зверь не из робких, а уж какой он в работе, я однажды наблюдал. Бросок сбоку — и у оленя-хора глотка перерезана от уха и чуть дальше гортани... Мгновения — семь оленей с перерезанными глотками валялись на снегу. Да он прыжком буквально сбил с ног крупного быка-оленя, в котором чистого весу до ста килограммов, а у моего Соболюхи уж никак не больше двадцати, ну двадцать пять максимум. Как пес умудрился с четверть часа держать волка — ума не приложу!

Я вскинул мелкашку. Пуля ушла в снег. Дурацкая привычка стрелять не по стволу, а по прицельной планке. Прицел был установлен на двадцать пять метров — отсюда и промах. Передвинул планку — и еще раз. Волк дернулся и на махах пошел за бугор, бросив оленю шкуру. Соболюха, мой пес, рванул за ним. Как прекрасно он шел. Яростно. Смело. Шерсть дыбом. Я сначала залюбовался, а потом опомнился и ринулся за ним. Сразу же потерял в сугробе домашние тапочки и в носках по обжигающему снегу рванул наперерез. Не успел, за бугром услышал короткий визг. Сердце заглохло — конец моему рыжему пройдохе.

Когда вылетел на бугор, увидел метрах в двадцати такую картину. Пес лежал боком, но передними лапами пытался приподняться. Волчара тоже боком подходил к нему, как бы стелился над снегом. Я еще раз выстрелил. Волк развернулся и вцепился сам себе в ляжку зубами. Достал-таки. В такие моменты, когда все ходит ходуном, трудно быть ковбоем. Я не оправдываюсь. Обидно, конечно, но ситуация слишком быстро меняется. Все решает секунды. Не всегда успеваешь сконцентрироваться.

Волк крутнулся, сделал резкий прыжок в сторону и, буквально расстелившись над снегом, пошел в кустарник. Собака пошла за ним. Я орал, как тупая бабенка в очере-

ди за колготками: "Соболь, ко мне! Соболь, ко мне! Мать твою-перемать! Убью!.. Ко мне! Ко мне!"

Удивительно, Соболь послушался. Мой пес нехотя вернулся. Лег около ног. Снег покраснел. От шеи до бочины, справа, шкура была разорвана, да и мышца тоже. Я развернул пальцами шерсть. Рана спело наливалась кровью. Передернул затвор мелкашки. В магазине патронов не было. Это уже фразерство. Самонадеянный болван. Но кто знал, да и кто мог предположить, что волк так обнаглел. Кто мог предположить, что пес сможет так долго его держать у пня.

Ног в азарте я и не чувствовал. До избушки дошел, как на ходулях. Весь в крови. Сразу же скрутил веревками собаку, растянул ее вдоль весла. Спиртом протер капрюновую нить. Прокалил цыганскую иглу и стянул одну рану девятью швами, а вторую двумя. Торопиться и пороть горячку не стал. Спокойно оделся. Взял карабин, как положено. Любимый нож, топор бросил в рюкзак и пошел по волчьему следу. То, что я его зацепил, — это точно. Далеко не уйдет. Все равно загоню. Все равно ляжет.

Тогда-то я вышел на его след подхода и измерил спокойный шаг — 72 сантиметра. Прошел метров триста по следу. Волчара кровил, но не сильно. Кровоизлияние могло быть и внутренним. Тогда он обречен. Прошел еще метров сто пятьдесят. Черт возьми! Еще один след. Шаг чуть поменьше — около 64 сантиметров...

Да, если бы мой пес рванул за подранком, он обязательно нарвался бы на засаду. Опытные звери. Умницы.

Волчья тропа стала забирать круто вверх, к обрывам. Я шел, осматриваясь. Карабин снят с предохранителя, да и оптика — дело не последнее. Оптический прицел — штука хорошая.

Ближе к скалистой террасе следы волчьей пары стали забирать еще левее... И тут только я понял, что они сделали крут и вышли на параллель к моему следу, к моей лыжне. Они даже после выстрелов выслеживали меня. Вот их лежка. Крови было чуть-чуть. Звери шли ходко. А тут залегли, очевидно, когда проходил я. Надо было мне об этом думать раньше. В конце концов, не первый день хожу по тропе. Здесь они отлежались, следили за мной, а потом пошли в сторону распадка, в сторону водораздела между Хаханчой и Дюпкуном. Тропил след до сумерек. Началась поземка, пришлось вернуться.

На следующий день запуржило. Да... вот такие пироги. Еще вечером, уставший и злой, я вышел на связь с нашими ребятами, которые стояли на озере Хаханча. Предупредил о возможном визите волчьей пары. На Хаханче стояли Хухутогир и Эскоп — звенки. Хорошие ребята, простые и добрые, если, конечно, их не обидишь. Они взяли волка в пургу на следующий день прямо на озере. Загнали на "Буранах". Волк был молодым, а матерого так и не нашли. Очевидно, он остался где-то в снегах.

Не добрал я зверя. После пурги искать бесполезно, да еще и пес мой отлеживался. Пес мой, рыжий Соболюха, зализывал раны. Они затянулись довольно быстро. Через пару недель он уже работал в полную силу, как ни в чем не бывало. Молодчина. А ведь, глядя на его добродушную рожу, никогда не скажешь, что он может превратиться в клубок рыжего пламени — яростного и неуправляемого.

Кстати говоря, и после этого случая он не стал бояться волчьих следов. Ничего подобного. Нюхнет, шерсть дыбом, и пошел. Я гляну на старый закисший след и прикрикну: “Ну куда, рыжий черт! Не дури! След-то двухдневный”. Он все понимает. Крутнет хвостом. Улыбнется и говорит: “Да так. На всякий случай. Разминка”.

### РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ

— А ты туда лучше не лезь. Особенно весной, да и осенью опасно. А зимой там пастух в пустоледицу ушел вместе с оленями. На то, что осталось, страшно было смотреть. А летом Олег Беглецов, он тогда инженером по промыслу был, перевернуло его на старенькой “казанке” и давай утюжить по валунам под этим корытом. Заволокло под коряги — еле вылез. Так что не советую сплавляться по Веселой речке.

Так говорил мне Ванюшка Емельянов, по кличке Каленый, когда я собирался сплавляться по Веселой до усадьбы совхоза. Он не особо разговорчивый, а здесь мы по стакану выпили, закусили сугудаем, и он, видать, от одиночества разговорился.

В молодости он был парень общительный, а потом “сторе́л” на осетровой рыбалке, отмотал небольшой срок, но этого хватило, чтобы уйти из города. Семья развалилась. Друзья отшатнулись. Карьера, заметная карьера на крупной стройке, рухнула. Суд был показательным, в назидание остальным общительным ребятам, и на нем изрядно потоптались и пресса, и закон... Сейчас он жил на Горном озере с кержачкой Степанидой, или попросту Степкой, и посторонних в свою жизнь не пускал.

Со мной он тоже держался настороженно. Но вот выпал случай откровения, и я его не перебивал.

— Ты помнишь, — продолжал Каленый, — разговоры были, что я стрелял там, значит, увольнять меня собирались. Вывозить с точки. Началось-то все с чего. Как только лед с Горного сошел, я сети выставил. Хорошо рыба шла, но Лосино улова я не трогал. Там почему-то по весне кишит сиг. Отбомбить сетями эту прекрасную рыбешку недолго. А мне уже почему-то не хочется перевыполнять планы. Все равно, пока дойдет до прилавков, сгнойт половину, а остальное превратят в соленые портянки. Живу я здесь, дышу, радуюсь вместе со Степкой озеру, и ладущки.

Услышал с вечера мотор. По воде далеко слышать, а утром глядь в бинокль — на берегу Лосино улова дымок. Гости из Дальнего, поселок такой, вниз по реке километров двести. Там строители, эксплуатационники. За рыбкой приехали. Ну, думаю, мужиков надо просто похорошему предупредить. Пару сетенок пусть воткнут, но не в этом месте. Я не жлоб, но не люблю, когда шакалят.

Подъехал к ним. Поздоровался. К чаю не приглашают хозяина. Три мужичка. Я наваливаться не стал и говорю просто:

— Так, мужики, шесть лент по три сетки — это много. Снимайте. Участок мой. Пару сеток на уху, на сугудай воткните, но не здесь.

Маленький такой, кругленький, один из них, как резерватив, фамилию потом в Дальнем узнал — Флябин, хамить начал, поддатый, конечно:

— Ну, бля! Шушера будет воздух двигать. Давай, давай отсюда! Водки нет, а есть — так мы сами, бля... Давай, давай, дергай!

Я так глянул. Ружья лежат, пятизарядочки. Мужики крепкие. Сытые. Я молча повернулся и ушел. Поехал проверять сети. Они в бинокль понаблюдали и тоже за сети взялись.

Привез рыбу. Степанида шкерить начала. Я взял карабин и пару обойм. Степка зыркнула. Она у меня понятливая. После лагеря с ней познакомился. Поселочек рядом с лагерем был.

— Может, — говорит, — пусть с ними?

А сама вроде спокойная.

— Да нет, — отвечаю, — потачку дашь — с говном смешают. Жизнь вся такая. Ты в случае чего через час на связь выйдешь и скажешь, а если эти подъедут — спрячься и уходи вверх на плато, к оленеводам.

Степка кивнула головой. Наморщила лоб, он у нее маленький, и продолжает шкерить рыбу.

Я пошел пешком. На лодке нельзя, а мужики были без собаки. Обошел залив и подошел, как подходишь к зверю — не торопись, но и не медля.

Они шкерили сига-валька. Уже поймали центнера три. Ружья рядом. Я подошел поближе:

— Стоять! Бросить ножи!

Флябин дернулся за пятизарядкой. Я вложил пулю в ее приклад, и она отлетела в сторону.

— Стоять! Сука!

Здесь уже из меня попер жаргон. Мужики кое-что начали понимать, и только Флябин гундосил, хотя больше не дергался:

— Да ты знаешь, на кого бочку катишь? Да, бля, тебя завтра же схавают с потрохами...

Я собрал ружья, собрал моторы — заставил их погрузить рыбу в одну из лодок. Все продукты окунул в воду поглубже. Оставил им по буханке на брата и спиннинг.

— Мужик, давай лучше на мировую. И тебе будет хорошо и нам. Скажи, что тебе надо, и мы все привезем, — это тот, который постарше, седой.

Я у них и охотничьи билеты забрал. Конечно, на мировую — оно лучше и выгодней, если бы с самого начала так, а сейчас уже поезд ушел. В шторм лучше идти против ветра. По ветру задницу вымочишь, а начнешь петлять — перевернет.

Кривотолки об этой истории с Каленым я слышал, но подробностей не знал, и поэтому молча плеснул по полстакана. Степанида подала пельмени. Села рядом, тоже выпила, незаметно улыбнувшись. Я ее вообще улыбающейся не видел раньше. У нее, оказывается, красивое и доброе лицо, даже лукавое.

А Ванюшка продолжал повествовать:

— Как подъехал к избе, Степаниды рядом нет. Потом шлепает из-за ручья с ружьем и биноклем. Молодец, по уму. Лодка чужая. Нечего на берегу рисоваться.

Я сообщил по радию в совхоз. А Володька, вместо директора оставался, заюлил, замямлил. Понял я, что надеяться на поддержку нечего. Дал официальную радиogramму в инспекцию и сказал, для страховки, что продублирую ее через геологов. С ними у меня тоже была связь.

Утром рано слышу рев на озере. Две пятых “казанки”, под двумя моторами каждая, и в лодках по три человека.



“Могут схавать с потрохами, — не очень спокойно подумал я. — Место глухое. Убить-то могут и не убить, а вот почки отобьют”.

Степанида губы закусила:

— Что делать будешь?

— Так, Степка, ты поднимайся на бугор и бери с собой карабин. Если меня того самого... Ты всех подряд щелкай. Поняла? Тебе ничего не будет.

Степка кивнула и только спросила:

— Ваньша, а как нажимать, ты покажи, а то я только из ружья шибала.

Показал я ей. А стреляет она лучше, чем я. Рука крепче, хоть и баба. Уверенней. Ушла она тихонько, а я — один нож на поясе, и второй в сапог опустил и пошел встречать гостей.

Лодки лихо развернулись и врезались в галечник, воя моторами. Фраера. С первой лодки соскочил чернявый симпатичный мужик в полушубке и почти побежал ко мне. Торопится. Полушубок распахнулся, и я увидел миллиейскую форму. От души несколько отлегло. Он показал удостоверение: майор Джумбаев и дальше Оглы, не запомнил, красное управление внутренних дел. Второй тоже майор, тяжеловатый, только хвостик торчком и фамилия подходящая — Гусак. Ему бы еще и шею подлиннее, больно коротка.

Я не знал тогда, что палатка майоров стояла чуть дальше. Господа отдыхали на лоне природы. Рыбачили на спиннинг. Зашли в избу. Они профессионально оценили обстановку. Жилая, нормальная, человеческая изба. Разговаривали мягко. Остальные, в том числе и Флябин, кроме одного, новенького, были мне знакомы и в избу не заходили.

Джумбаев начал перечислять: лодку, моторы, ружья, ваши документы забираем и карабин тоже. Разберемся, если все в порядке, вернем.

Я сказал, что отправил радиogramмы в инспекцию и в совхоз. Они переглянулись. Выдержали паузу. Гусак включился в разговор:

— И с этим разберемся. Карабин где?

Я подумал и кликнул Степку. Степанида медленно перешла ручей с карабином наперевес, не сводя глаз с майоров.

— Степанида, отдай карабин.

Степка протянула карабин Гусаку, стволом ткнув вроде случайно в живот. Это она дурочкой прикидывалась. Прекрасно знает, как надо подавать оружие. Гусак крикнул, но ничего не сказал: мол, что с нее взять.

А Степка, не обращая на майоров внимания, только мне цедит:

— Ты с них расписку по всей форме возьми, а понятия пусть вон те, да я распишусь, Мало ли... Форму напялят — дело недолгое...

Ай да Степка! Лихо она подвела базу под росписи понятых. Расписка их завяжет в один узел.

Гусак подвоха не почувал:

— Все оформим, как надо!

И добавил вроде невзначай:

— Пусть сразу же собирается и приезжает в Дальний.

— Ему бояться Дальнего нечего. Он у меня законы уважает.

Майор кивнул, довольный нашей покладистостью, но я-то видел, что Степка снова гонит дуру и, не веря мундиру, ни в грош по-бабьи не ставит майора. Она на них насмотрелась в детстве.

— Как же! Поезжай! — начала пилить меня жена, как только лодки отчалили. — Поезжай, поезжай! Они тебя встретят. Ты им весь отдых поломал. С телеграммами, со стрельбой, с инспекцией. Сейчас у них забот полон рот. Не до сижка. Они сейчас на кнопки давить будут, а приедешь — там же, в Дальнем, выездной суд состряпают, и ты у меня загремишь надолго! Поезжай, поезжай! Ах, как мягко тебе стелил этот кавказский козел в форме. Поезжай, поезжай!.. Здесь Степка была права на все сто. Всплывет моя судимость, на мне хорошо протанцуют. Потом оказалось, что так и было. Совхозный Володька, ну тот, что оставался вместо директора, с перепугу (Джумбаев представился начальником оперативного отдела краевого УВД) сказал, что разрешение на карабин просрочено и уже недействительно. Это значит, мне горело две статьи: за попытку убийства при вымогательстве водки и, естественно, незаконное хранение оружия. Плюс моя судимость — сидел бы до конца дней. Сколько их осталось? Не так уж много...

Слишком долго я рассказываю. К чему все веду-то? Через Дальний мне путь был заказан. Перевал еще закрыт весенним снегом. Оставалась только Веселая речка, через распадок на Веселое озеро, оно километров тридцать, а потом речка, а потом еще одно большое озеро — и усадьба совхоза, откуда попутным вертолетом до Норильска, а там решим, прозондируем почву и начнем защищаться, но лучше, конечно, не защищаться, а давить. Именно так, а не иначе.

Степанида выслушала меня и мотнула головой.

— Дело говоришь, если только Веселую пройдешь. Хотя куда ни кинь — везде клин. С богом!

Бога она зря не поминает...

Прошел распадок, ручей бурливый, озеро прошел на резиновой двухместке, которую для надежности обтянул брезентовым чаном, и вошел в речку Веселую.

Снег тает, журчит. Солнышко припекает. Лоси по берегам важничают. Мелкие перекаты, тихое течение, ямки. Рыбы море. Гребу, сплаваюсь с дремотой до устья. А в устье меня понесло. Слышу, под водой валуны грохочут. Паровая мельница работает вхолостую, перемалывать пока нечего. Пошел в самый порог. Представляешь — слив градусов под двадцать, водопад с полметра, порог точнее, кипит весь. Потом река врезается в скалу, кипит в пещере. Поворачивает на девяносто градусов и по валунам. Река ревет, как седой раненый медведь. Эх, меня через порожек — и в пещеру вместе с лодкой влепило. Стою на твердом, лодка на мне, на спине, ее водой давит. Вода ледяная. Все кипит, грохочет, пенится.

Стоял минуты полторы, чувствую, коченею. Но перед тем, как меня влепило в промоину, я краем глаза заметил, что от пещеры воду тянет в глубину, под выступающий козырек скалы. Я намертво схватил веревки, стягивающие брезентовый чан и лодку, и рванул пружиной вверх и от скалы. Меня кинуло, сложилось водяным вихрем лодку пополам вместе со мной. Чан спал. Выплюнуло и понесло по валунам. Руки, ноги, зад, спина — по валунам. Мне так даже в армии не доставалось, когда на-

бил морду сержанту, а там меня месили девять человек, ногами...

Когда я очухался, снова журчала водичка, пели птички и шекотал ноздри запах багульника. Где-то там, далеко, грохотало, но это было уже далеко. Двое суток валялся на берегу. Еле развел костер. Рюкзак был стянут веревками в лодке, и все в нем было упаковано для Ниагарского водопада.

— Так что я тебе говорю, — закрутился Каленый, — не суйся на Веселую речку. Раз на раз не приходится. Не будь фраером.

Меня уже, откровенно говоря, Веселая интересовала мало. Сплавлюсь — увижу.

— Слушай, Ванюша, а дальше, дальше что с этим Оглы и Гусаком?

— Ну, наливай еще по полстакана!

Здесь уже Степанида не выдержала:

— Хватит. По полстопки. По полстакана жрете. И этот, — она со мной не церемонилась, — уши развесил, а лакает исправно. Завтра похмеляться начнете, а работать кто будет? Вода-то — парное молоко... Рыба сварится, а они жрут и жрут. Хоть ешьте. Пельмени, что ли, зря варганила? Не столовские.

Ванюша на нее посмотрел, и она села на кровать за занавеску, продолжая уже неслышно бурчать.

Крякнули еще помаленьку. Ванюша продолжал рассказывать уже без игры желваков на скулах, а с легкой улыбкой.

— В поселке мне стало ясно, что Вовка с перепугу меня продал. Добрался до Норильска, через своих ребят в Дальнем узнал, что дело мое в заключительной стадии и ждут меня. Привел себя в порядок, оделся как положено и — в Красноярск, там у меня журналисты знакомые, случайно заехали, погостили, визитные карточки оставили. Один из них особенно лобастый парень. Мы с ним вроде скорешились на озере. Так вот, Лобастый и позвонил генералу в управу, но предупредил меня: “Не виляй с генералом, он мужик умный, опытный и справедливый. Даже если тебе поверит — все равно проверит, а соврешь — тебе дороже будет”.

С генералом я встретился в воскресенье утром, в восемь тридцать. Старик работал не на показуху. Офицер привел. Я сел. Поздоровались, и стал я рассказывать все, как оно было. Он выслушал. Покряхтел. Видать, радикулит замучил. Покряхтел, значит, и спрашивает:

— Чего ты хочешь?

— Покоя и оружие. Без оружия нельзя работать.

— А твои друзья-журналисты?

— Это не их дело. Они только помогли встретиться с вами.

— Правильно говоришь. Говоришь правильно, — нажал на слово “правильно” генерал. Акцент он поставил очень интересный. Надо было понимать так, что он мне начинает верить или поверил.

Генерал поднял трубку. Отдел внутренних дел, к которому относился Дальний, был на проводе. Старик начал властно и без предисловий:

— Тебе фамилия Емельянов знакома? Да! На столе? Что там? Так! Так! Так! Ты что там натягиваешь кое-что на кое-что? Они были вместе. Ладно. Вернешь оружие, и

твоим там делать нечего. Понял? Через два дня будет у тебя.

Генерал положил трубку и, растирая левой рукой поясницу, вдруг просто, как-то по-мужицки:

— Тоже мне, нашли рецидивиста. Валяй, работай! Уйду на пенсию — залечу попробовать, как там этот сиг называется? Валёк? Во-во, заеду попробовать. Без мундира. Заочно Степаниды боюсь. Ты ей так и передай.

Что тебе еще сказать? Карабин вернули, но с такой неохотой. Могли бы — порвали на клочья. И все-таки молоточком стукнули два раза по цилиндру выбрасывателя. Поршеньек стал заедать. Я сразу на радостях не заметил. Карабин я люблю — кормилец. И здесь, видишь, раз на раз не приходится. Спасла случайность, справедливый человек, а закон мог угробить до смерти. Во как, братишка.

Я прошел по Веселой. Все было так, как рассказывал Каленый. Только этот порог и пещеру я обошел верхом по плато. Рисковать не стал. С опасностями вообще-то, как любил повторять поэт Сашка Слижевич: “Когда не ждешь, приходит время песни”.

## Владимир ЭЙСНЕР

*Родился в 1947 году в Омской области. Закончил испанский факультет Пятигорского пединститута. Работал учителем, монтажником, метеорологом, охотником-промысловиком. В настоящее время работает такелажником геологической поисковой партии. Живет в п. Хатанга.*

### "РАССТРЕЛЬНЫЙ" СЕМЕНОВ

Человек восемь было нас за столом. По третьей выпили, а кое-кто, под шумок и четверту-пяту рванул и уже запросто макал строганину прямо в пепельницу, когда на пороге возник Иван Шаталов. Долго обивал он валенки и выбирал лед из усов и бороды, надеясь, что на него обратят внимание, но застолье увлеклось политической беседой и Ванин приход остался незамеченным.

— Керосините, значит, — констатировал он печальный факт.

Я перехватил его взгляд, направленный поверх голов на Федьку Лутохина, и сразу вспомнилось, что древние ханы казнили гонцов, принесших плохую весть.

— Радуйся, Федор, враг твой, Артем Семенов с мыса Угольного, себя стрелил!

Дым и тот повис в воздухе.

— Да уж какая радость, — обиделся Лутохин. — Не враг и не был! По пьяне сколыхнулись... Врешь, небось?

— С эропорту иду. Вертак туда наладили. Ментов понабилось... Деда Бугаева не выпустили, напарника его. Назад полетел. Собаки его разбежались. Ругался, зараза...

— Ясно... Будут теперь трясти. Чего да как... Собак, конечно, зря, — лови их теперь! А чего он?

— Да кто ж его!.. Бугай говорит, почти тверезый был... "Не подходи", говорит и стволом на него... Скинул, говорит, валенок и — дуло в рот, ногой нажал! Затылка как не бывало!

— Вот тебе на! — Парфен Савельев мотнул кудлатой башкой. Ну, помянем, мужики, северного охотника! Свой все-таки был человек!

Больше ничего не было сказано о погибшем. Ни плохого, ни хорошего. Только это расплывчатое "все-таки". Потихоньку разошлись. Застолье само собой кончилось.

Вечером я встретил на улице деда Бугаева, помог ему переловить собак и запереть их в кутух.

— Ну заходи, теперь можно и чаю, — огромной своей фигурой дед закрывал весь дверной проем.

— Погодите, Маркел Мелентьич. Я — за бутылочкой. Помянем напарника вашего.

— Водкой не поминают! Не православный это обычай, а грех! После войны так-то стали, от пилотов, гряд, пошло, а раньше не делали так. Покойник и при жизни перебирал, а мы его ишо и поминать водкой! Конфет там купи, пряников, сладкого всякого, а я тут пока кутью какую. Рис у меня да гречка.

... После третьего стакана чая дед Маркел вытер пот со лба и пересел к печке. Поворошил кочергой, подобрал полешко.

— По пьяне что ли? — осторожно спросил я.

— Ну, а то как... Брагу он ставил. Не мог уже без нее, проклятой... Я ишо таким его знал. И отца его и мать. Шустрый был парнишко, не ленив и смекалистый...

Отец его столярничал в ремгруппе, а по выходным они часто ко мне на точку прибегали. Стоял я тогда всего в пятнадцать км от поселка. Песец, конечно, похуже шел, зато к бабе да к бане поближе. Тут уж сам выби-рашь... Как постарше стал, бывало, парнишечков школь-ных с собой приведет. Рыбачим с имя. И рыба им с со-бой и наука. И сам тады молодой был. Чуть за сорок. То-же, иногда, и камушки кидал с имя вместе, какой боль-ше прыгнет...

Потом батька его помер с чегой-то. Матеря с двумя младшими девками на материк подалась. Но он после ар-мии приезжал. Дивились все: погоны на ем красные! И мне не глянулось. Чего Север краснотой дразнить? У каждого второго тут кой-то лежит. И мой отец в Но-рильске закопан...

А смеется. Возьми, грит, деда, меня в тундру. Напар-ником, грит. И я смеюсь. Учись, грю. Тундра — дело ста-риковское!

Потом не стало его слышать. Потом слышать: охранни-ком в зоне работат! Ну я не поверил, мало чего люди ба-ют... Потом слышать — правда! Потом пропал навовсе. Лет двенадцать ли, пятнадцать ниче не слышать.

Потом прибыл. Я не удивился. Север. Кто был, тот вернется. А он тем боле рожденный тута.

— Че так? — грю.

— С женой разошелся. В напарники к тебе, помнишь, смеялись? Возьмешь ли, нет ли? Давай, грю, дела это те-бе знакомая. Детишков-то не оставил? Не дал Бог, грит. Ну и ладно.

Вижу — переживает. В работу надо его, чтоб уставал, да спал крепко — лучше всех таблеток. А там отойдет, ишо женится. В тридцать шесть мужик, считай, тока-тока в свой ум вошел.

Ну, зиму перебыли мы, песец шел, разбогатели ма-ненько. Гляжу — весной привозит. Не глянулась мне. Го-родская. Такая в тундре года не сдюжит, назад повернет. Ну — дело их!

Мигнул я племяшам, взяли мы струмент, да на мысе Угольном, верстах в двадцати от моего зимовья, ему дом скатали шесть на четыре. Она варит, мы, вчетвером, бревна тешем. За две недели поставили. И с пристрой-кой. И сарай. Бревен — доск от Диксона до Челюскина все берега плавником закиданы! Короче — отселил его, как отец сына. Хозяинуй сам, да в гости бывай!

Упряжку не стал он заводить. Щас мода "Буран". Та-ды ишо можно было купить. Две тыши и стоил всего. А щас купи-ко! Двадцать пять "лимонов"-то!

Дед замолчал. На его снежно-белой голове плясали отсветы пламени, в морщинках на лбу залегла тьма, в зрачках взблескивал огонь, придавая грубому лицу зага-лочный древний вид. Я пожалел, что не взял с собой фо-токамеры.



... Бабонька та, точно, не сдюжила. Осенью, как вывез он ее с путины в поселок, так и поминай! Ну, посмеялись мы, да забыли, и до него случилось такое. Деревенскую надоть в тундру брать или на местной жениться. Те к работе привычные. А городская, она без телевизора не может. Опять же, одна подолгу... Работу нашу любить надоть... Следующим отпуском другу везет. И та сбежала! Так и повелось. Весной привозит, к зиме отвозит. А ведь зимой, в морозы, самая работа у охотника! А ну-ко один! Только шестая ли седьмая ровно год продержалась. Крепко мне глянулась девка. Наша была, с под Туруханску. Муж ейный с тайги не вернулся, так она рада была новой семье-то! Я к ним зимой с путика заезжал. То вроде обогреться, то просто так. В избе она все на свой лад обставила. И чисто так, прибрано. Ну — баба! А едешь по тундре — сладка хлебный дух слышать — Манюшка пироги печет!

Я, дурень старый, думал, наконец, сложилось у Артема. Ан — нет! В середь мая приходит она ко мне: дедушко, билет у меня, помоги чемодан, тяжелая я!..

Тут я, пра слово, навовсе онемел! Че ж ты, грю, дура, прости, Создатель, за слово, от мужика бежишь, раз в тягости?

— Ох, дура, — кричит, — ох, дура!

Да пала ко мне, да в голос:

— Не было мужа и такого не надо! Не хочу, чтобы у дитя моего такой отец был!

— Да чем жа, грю, он хуже других-то?

— Ой, хуже, — шмырчит, — дедушко, ой, хуже! И не сказать-рассказать кому — расстрельный он! Зеков стрелял, которых по суду к вышке... Сам напросился! Всю Россию так-то объездил! А потом, когда пошла перестройка эта перетряска, кто-то ему сказал, сам ли дошел, что не все по расстрельной статье шли. Которые вовсе зазря. За одного, говорил, Чикатилу то ли четыре, то ли аж четырнадцать человек зазря грохнули. Ну, так бросил он, уволился... Так хоть бы уж молчал! Так нет! Браги своей кружку-другу — и начинат рассказывать... Да кому? Баб-ба! А я потом не усну — мерещится!.. И то бы ладно, да как подумаю, что ненормальный он, самашечий, что который в себе-то мужик не пойдет на зарплату таку — людей стрелять! Да что болезнь его может на дитя перекинуться, прилипчивые они, психические-то, тошно мне делается, дедушко, хоть в петлю!

— Не верь, дочка, грю, не стреляют шас, а на рудники! То он болтает по пьяне-то! Мушшын не знаешь? Каждый хвастат на свой лад, да иной меру не знат! А она: нет, дедушко, правда! Через то и мучается, и пьет через то! И так-то напивается браги своей, так-то напивается, хуже как с водки, и рвет его аж черной желчью, а все не бросит! Не могу больше! Если не вернусь к матери, не об-скажу ей все, — сгину тут и дитя мое сгинет... Но я не бегу. Сказала ему. "Ладно!" И денег дал. А провожать, грит, не пойду, сама как знаешь! Смолчала, что в тягости я...

Н-ну, дела-а! Проводил, перекрестил, в самолет посадил. Вертаюсь в общагу. Нашел его.

— Че, правда, че ли? Посмотрел так. Правда, грит. Заставляли — че ли? Нет, сам... Тады плохо дело. Отпуск шас у тебя. Ты на материке по церквам походи. Попа себе высмотри. Да не абы какого, а какой глянется, моло-

дой ли, старый. Исповедуйся. Надоть, чтоб Бог простил. Таку-то тяжесть нельзя на душе носить. Навовсе свихнуться можно. Ишо ребята не знают. С тобой никто ни есть-пить не станет, ни рядом не сядет!

Ладно. Возвратается это он с отпуску. Никакой бабы, гляжу, с ним рядом нету, да и от меня нос воротит. Ну — молчу.

А об начало сезона заехал к нему. Да ты ходил ли к попу-то? А ну их, грит, долгогривых! Разве обскажешь кому, что в душе у меня? Да поп-то, грю, ни при чем, только посередник он, надоть, чтоб Создатель простил грех твой! Крепко я тады осерчал. Ну на глазах пропадат человек, а лекарства сам не хочет! Не желат! Хотел брагу его вылить и параты эти гнутые заломать, а он: "Не трожь! Ты мне, дед, как родной, но тута я хозяин!" Мало мы друг друга за грудки не взяли! Плюнул я да пошел...

Потом, кады охолонули оба, уговорил я его все же ко мне на зиму. На глазах, думаю, будет, одному сейчас ему никак нельзя. Приезжаю с поселку, — это на собаках-то сутки, пристал маненько, — гляжу — него по новой брага и веселый уже! Ну повздорили мало. Он — карабин и бежать! Выхожу с двери — на валуне сидит и с правой ноги валенок на снегу... Не подходи, кричит, деда, не мешай, устал, не седни, так завтра! Побежал я, думал, успею ногой по стволу-то... А старый. Не успел...

Маркел Мелентьич тяжело вздыхает и ворошит кочергой угли.

— А что, — спрашиваю, — было у них с Федькой Лухотиным? Стрелялись, что ли?

— Ну. Пили-пили, да задралась. Артем — карабин! Я тот раз успел-таки по стволу шваброй. Пуля — в кушетку. Плашмя пошла, ваты накрутила, сбоку дыра в кулак... Пыли было да чиху! И кто ее придумал, водку эту? Навовсе дуреют с нее мужики...

Стукнула дверь. Зашли еще охотники, заговорили. Мелентьич встал, прошел к плите, поставил на огонь остывший чайник. Я попрощался и тихо вышел.

На небе светилось сияние. Но не веселая зеленая лента, не фиолетово-белое пламя и не длинные синие стрелы.

Близ зенита будто раздавили громадную вишню. Густой сок стекал по стылой синеве на запад, капал с ясных звездочек на дальний берег, на черный лес, на остывший жар полярного заката.

### СИЗИГИЙНЫЙ\* ОТЛИВ

Ночью утих западный ветер, всю неделю прижимавший льды к берегу. Вызвездило и пал мороз. А под утро — вот оно, долгожданное: тяжелый удар и низкий гул от упавшей в воду колоссальной стены торосов. Начался отлив.

Промысловая избушка, на островке в километре от берега, вздрогнула и откликнулась вибрацией всех своих звонких, крепких бревен. Охотники-промысловики, спавшие на нарах, на стульях и просто вповалку на полу, зашевелились.

\* Сизигийный — наибольший прилив-отлив. Бывает один раз в два года.

— Па-адем, ребята! — зычно заорал старшой на льду, Савельев, — а-атлив.

— От-т злодей, не дал "вторую серию" досмотреть. Только она стала раздеваться — на тебе, заблажил!

Шутника, однако, не поддержали. Кто-то уже брякнул спичками, зажег свечу, а затем и керосиновую лампу на подоконнике.

Не чаевали — время не терпит. Похватав оружие, по одному выскакивали во двор.

Светло, мушку видно. Иван Данилов, мужик аккуратный, карабин у него всегда, как скрипочка, в футляре, уже пристреливал его на протоптанной с вечера дорожке в сто метров. Как всегда, он ворчал, кляня конструкторов, упрятавших стекла в алюминиевый тубус. А ствол стальной. Разный, мол, коэффициент расширения. Как мороз, так по новой пристреливать. Каждый раз три-четыре патрона сжигаешь, а их и так всегда не хватает...

Впрочем, не у всех оптика. А у кого есть, не все пристреливают. У большинства, как у того Левши, просто "глаз пристрелявши".

Истомившиеся от долгого безделья люди быстро по два-три человека впрягались в лямки плоскодонных лодок — припаек и бодро тянули их сквозь торосы на край трещины. Благо, море открылось на этот раз всего в трехстах метрах от зимовья.

Черная молния трещины курилась густым туманом. Справа и слева она терялась в торосах, а прямо перед глазами росла и ширилась, плюясь мелкими льдинами и снежным крошевом. Тут и там, на воде, показывались футбольные головы нерп, всплывавших глотнуть воздуха. Зашелкали малокалиберки, захлопали "Барсы", бабахнули короткие кавалерийские карабины и тяжело грохнули охотничьи "девятки". Кто к какому оружию привык или кому какое досталось на складе.

Выстрел...

Маслянистый круг на воде вокруг головы убитой нерпы. Стремительно летит в воду плоскодонка-припайка. Два-три гребка веслами, удар крюком — и туша нерпы надежно подвешена за край лодки. Теперь, продавливая нарастающий ледок, назад, к напарнику. Тот помогает вытащить добычу на лед и снова вскидывает винтовку, выжидая.

Часа через два нерпичье стадо, распуганное шумом и выстрелами, откочевало на другой берег трещины, уже едва различимый в тумане.

Перекур. Кто зажигает сигарету, кто припас термос с чаем. К таким прибегают "остограммиться" или просто погреть руки о горячую кружку. Идет разговор на всякую тему, но только не о том, кто сколько добыл, кто мазал-шляпил, кому везло-невозло. До конца дня нельзя об этом — удачу спугнешь.

Вскоре подошло второе, менее многочисленное стадо нерпы. Этим животным, чтобы сделать вдох, уже приходилось продавливать носами тонкий серый ледок. Трещина замерзала.

Неожиданно старый охотник Михаил Кушаков передал своему напарнику, новичку Сергею Давыдову, бинокль:

— Глянь, плывут, как торпеды! Ветер кровь нанес... Н-ну, будет потеха!

С другой стороны трещины сюда, под пули охотников, плыл какой-то продолговатый кусок льда. Поправив резкость, Сергей различил на молодом льду голову белого медведя. За ней, в чистой воде, как в кильваторе ледокола, плыла еще одна голова, поменьше.

Добравшись до этого края трещины, медведица выпустила черные когти, в два прыжка одолела ледяной барьер и отряхнулась. Вслед за мамашей то же самое проделал и годовалый медвежонок — пестун.

Не обращая никакого внимания на крики людей и выстрелы из ракетниц, животные, обезумевшие от вида и запаха пищи, бросились к ближайшей куче убитых тюленей и пустили в ход когти и зубы.

Нерпы эти были добычей Матфея Черенкова и Володи Самохвалова, того самого любителя "многосерийных" снов, тоже новичка на льду.

Черенков продолжал пускать ракеты, сквернословил и был вне себя от злости. Не будь запрета не отстрел белых медведей, он, не задумываясь, уложил бы обоих зверей на месте.

— Ну, что ты стоишь! Да гони их, гони! И на хрен мне такой напарник, стоит, как чуело... Вмиг всю зарплату уничтожат! Э-эх, проклятые!

В горячке он подошел к медвежонку шагов на десять и тот сразу же прыгнул навстречу "пищевому конкуренту" и зашипел по-змеиному, сложив черные губы трубочкой.

— Да не тронь ты их! Хоть и малой, а врежет лапой — не очухаешься, — отвечал Самохвалов, — нехай жрут, вишь, оголодала семейка, одни шубы остались!

Животные и в самом деле были до крайности истощены и больше походили на борзых собак, чем на белых медведей. Не то что ребра пересчитать — даже позвонки хребтов и узлы сухожилий четко проступали под обледеневшими шкурами.

— Как это "не тронь"! Ну как — не тронь! Подарок им? Пусть сами добывают, на то зверье... Да стегани ты ее!

— Как это "стегани"? — не понял Самохвалов.

— А чтоб пуля под шкурой прошла. Сразу уйдет, дело проверенное.

— Ты что-о? У меня "девятка"! Мне же и отвечать потом, если вдруг...

Подошел Савельев.

— Надо отвадить, парни, зверей, а то прикормятся — всю работу спортят.

Он взял у Володи карабин и выстрелил медведице под живот. Тяжелая пуля рванула лед. Было видно, как осколки льда ударили зверя по ногам и по брюху. Ноль внимания!

— Вот! Ну как с ней? Ни ракета ей, ни что... Э-эх!

Черенков сдернул с плеча свой "Барс" и прицелился так, чтобы пуля прошла по касательной к телу зверя.

Хлопнул выстрел. На крутом заду медведицы взлетела шерсть и быстро закапала черная кровь. Медведица рывкнула, схватила себя зубами за болезненное место и заспешила прочь. Но тотчас вернулась, оттеснила пестуна от недоеденной нерпы и увела его за собой, в торосы.

Тюленей, конечно, распугали. Охотники стали грузить добытых нерп в сани, покидать припай. Давыдов и Куша-

ков тоже увезли добытых ластоногих — восемь штук — в сарай и там сложили штабельком.

В избе охотники чаевали. Каждый выложил на стол, что жена собрала в дорогу: вяленую и копченую рыбу, отварную оленину, картошку, сало, яйца, соленые огурцы-помидоры. Выбор небогатый, зато много!

Распаренный чаем, Черенков продолжал хаять напарника и жаловаться на свое невезение. Надо же, именно к его добыче кинулись голодные звери! А ведь всего десяток добыто! А Пашков — тот двадцать три успел!.. А за прошлый месяц, за весь январь на ветру и морозе, всего три тюленя отстреляно. Как тут жить? Чем семью кормить? А этот “пускай жрут!” говорит! Свое и отдавай, а раз вместе нажито, вместе и защищать надо. Так я понимаю?

Ему вяло поддакивали. Разговор не шел. Не в силах выносить нытья этого враз опостылевшего ему человека, Сергей Давыдов вышел из избы и вновь побрел утоптанной тропкой на припай.

Медведи были на месте. Звери грызли и вылизывали пропитанный кровью лед... Завидев человека, медведица заворчала на пестуна и увела его за собой в торосы. С красным пятном на заду, она заметно прихрамывала. Черенков “стеганул” от души... На льду осталось несколько кровавых ямок. Если смести в них всю оставшуюся снедь со стола, как раз бы наполнились...

Недолгий февральский день уже закончился, и море медленно погружалось в серый кисель сумерек. Трещина дымилась уже только отдельными окнами-полынками. На молодом льду сплошь белой солью выступила изморозь. Мороз крепчал.

Завтра можно будет охотиться у самых полыней, если все не сотрет в мелкое крошево сизигийный прилив.

## СЕЗОН ГОСТЕЙ

*“...Пей, и дьявол тебя доведет до конца...”*

Пиратская песня и житейская истина.

— Червяка жалко, — сказал Пал Палыч, перебирая блесны.

— А шуку не жалко? — съехидничал я. — Все-таки более организованная материя.

— Не жалко! Хычница. Поделом вору и мука! А червяк — очень даже полезная животная, а его на крюк! Да как! Через все тело живьем! А если тебя на железяку насадить? От и до... Не-а, я еще пацаном не мог червя, как он корчится... я только на тесто, на жмых, на зерно распаренное, да вот, шук на блесну. Не хапай!

Неизвестно, сколько продолжался бы спор, но тут в нашу холостяцкую комнату зашел знакомый “кадр”, плотник Миша Каталов. Недолго он слушал, пошарил в сумке и хлопнул об стол бутылкой водки:

— Вот самая клеваая наживка! Вы — по одной рыбке, а я — за раз целый мешок! Ну? Это рыбалка! А то — червяк! Блесна! Полнолуние! Дождь-хренождь! А на “батл” клюет в любую погоду и любая рыба! Доставай стакан — гость летит! Не поеду же я трезвый в аэропорт!

Чудовища вырастали из углов, из стен, ползли по полу, тянули к нему страшные когтистые лапы. Он не выдержал и сорвал со стены карабин.

Вместе с пулей струя огня вонзилась в злую пасть и погасила бесовские глаза.

После первого же выстрела Ефим проснулся и сознавал, что делает, но продолжал стрелять по маске шамана в углу, по бесстыжим голым красавицам на стене, по черному пятну на потолке.

Среди грохота и дыма металась по комнате крупная дымчато-серая кошка с белой грудкой и короткими обмороженными ушами. Совершенно ошалева, она вспрыгнула на остывшую железную печь, прижалась к трубе и так замерла, вздрагивая от выстрелов.

Семь, восемь, девять... Горячие гильзы, как живые, прыгали по полу. Последний патрон. Ефим поймал на мушку кошачьи глаза и медленно повел зернышко вверх, так, чтобы лишь срезать шерсть между ушей. Кошка сидела неподвижно, и пуля аккуратно выбрила полоску на ее пологом лбу. Подпрыгнув, кошка с дурным мявом сиганула на стол и исчезла в форточке.

— Вот так-то! Не будешь мявкать зря! — вполне довольный собой, — пьяный, пьяный, с похмела-похмела, а рука не дрогнула, — Ефим тяжело ссунулся с кровати, добрел до двери и вместе с пороховым дымом и запахами нечистого помещения, выкатился во двор.

Под берегом тихо светилась река. Ни рябинки на молочно-розовой поверхности, ни гула мотора, ни шума ветра. Пушистые лиственнички над обрывом, кусты ольхи у воды, последние жарки оранжево смотрят из зелени. И пьяный, грязный мужик с жутким запахом изо рта...

— Иди-ка ты, диссонанс, оскорбление природы, назад в свою конуру!

Продолжая бормотать про себя, Ефим вернулся в зимовье, нашарил под столом початую бутылку водки, выпил из горлышка, уронил бутылку на пол и вскоре уже спал, тяжело, придавленно.

К Мише Каталову прибыл гость Гриша из областного центра. Надо показать Грише Север? Надо! И нравы-обычаи здешние и охоту-рыбалку надо показать Грише? Надо! А рыбки северной надо Грише с собой на материк? Надо! Вот и поехали, все сам углядишь!

Жена у Миши завбазой. Поэтому контейнер у Миши забит водкой, купленной два года назад по той еще цене. А сколько раз с тех пор менялась цена на водку? То-то же! А водка, дорогой друг, Гриша, на любой бартер сгодится!

Три ящика с водкой загрузили в лодку. Туда же — палатку, продукты, канистры с бензином и сверху совсем особым, тщательно укрытый ящик. В нем фрукты!

На реке слегка штормило. Свежий ветер рвал брызги с косой боковой волны, и оба “рыбака” вскоре изрядно промокли. Наконец, завернули в тихую протоку. На крутом берегу серой пирамидкой возник чум, обтянутый брезентом и старыми шкурами. Растопыренными пальцами торчали поверху концы закопченных жердей, под наветром сушилась рыба.

Лодка уткнулась в берег.

— Бросай якорь!



Гриша выбросил якорь на длинном лине, выпрыгнув из лодки, подтянул ее повыше и затоптал якорь в грунт.

— Бери ящик, пошли!

Сам Миша выхватил из ящика бутылку, сунул ее в карман и взял сумку с продуктами. Навстречу, редко, незлобно взлаивая, бежали две собаки. Миша пнул переднего пса ногой:

— Э-эй, Усак Акимыч, принимай гостей!

Но из чума вместо старого рыбака вышла крепкая свежая девушка и, сердито щуря раскосые глаза, сходу влепила:

— Зачем собаку бьете? Если лает — не кусается!

Старый Усак за спиной дочери делал извиняющиеся жесты и пожимал плечами.

— Дочка моя, Верка. Ленинград учится. Иститут Севера. Летом у них перекур, однако... Проходи, сушишь!

— Проходите, проходите, — повторила приглашение сердитая Верка, — чай уже стоит, лодку далеко слышно, а водку несите назад!

Услышав "несите назад", Гриша, тащивший по откосу тяжелый ящик, заспотыкался.

— Назад несите, — твердо повторила студентка. — Отец не пьет и на рыбу не меняет!

Гриша тяжело плюхнулся ящик у входа в чум. Переглянулись. Ладно. Надо ж обсушиться.

В чуме оказалась еще одна девушка лет двенадцати. Она уже нарезала крупными ломтями малосольную нельму и теперь разливала чай по кружкам.

Миша вынул бутылку, налил себе и Грише и подмигнул Усаку, жадно следившему за действиями гостя. Гриша разложил на столе свежий лук, чеснок, сыр, пододвинул девушкам шоколадку. Вера подобрела:

— Сами пейте, раз промокли. Грейтесь. Рыбу на хлеб и продукты менять будем, а водку не везите. Болеет после нее дед, совсем плохой становится.

Гости выпили, крякнули, хрустнули луком. Пошел вялый разговор о том, о сем. Поругали погоду, правительство и нахальный Аэрофлот, залупивший цены так, что Север превратился в тюрьму народов: ни залететь, ни вылететь!

— И за ручную кладь придираются, — вставил слово молчаливый Гриша, — моя летела с отпуску, денег — ни копыя, пришлось колбасу прямо на сиськи положить, иначе б заштопорили.

Девушки приснули, засмутились, и Миша быстро подвинул Усаку кружку с водкой. Тот рванул, жадно выпил, схватил кус рыбы. Вера подошла к Мише, присела на корточки, глянула ему в глаза и спокойно, четко начала:

— Ведите себя как гость, не спаивайте старика. Просила же вас! — и, разом вспыхнув, перешла на "ты":

— Еще раз так сделаешь — ошпарю из чайника. Я здесь хозяйка.

Полуобсохшие гости поспешили откланяться.

— Не бойсь, Гриша, — плюнуть — растереть! Тут рыбаков понатыкано — не здесь, так там. Без рыбы не будешь!

Но в следующем чуме повторилась та же история. Только ребятишек было побольше, да женщины посерь-

езнее. Чтобы не отдавать шоколад, не стали даже и чай пить.

В третьем чуме бросилась под ноги очень похожая собака и вышла навстречу опять Верка что ли? Гриша, шедший первым, прямо остолбенел.

— Мы это... Лазарь Антоныча нету дома? — очень вежливо поинтересовался Миша.

— Сети смотрит, скоро будет. Проходите!

— Да нет, мы потом...

Мотор сердито взревел. Лодка, распуская длинные "усы", резала гладкую воду.

— Может, на яблоки попробуем? Да помидоры у нас, виноград.

— Понимают они в яблоках, как свинья в апельсинах... Мы вот что... Есть тут еще одно место. Там наверняка. Далеко, правда, еще почти сто км.

— А вдруг и там студентки?

— Не. Мужик.

— Национал?

— Русский.

— Один?

— Один. Пьет с-собака! Какая баба с ним жить будет! Но покладистый и по трезвянке работяга. Рыба у него всегда есть. Ледник на точке. Другие шкерят, да солят — морока. А этот просто проверил сети — и в заморозку! В сталинские времена на его точке ссыльные немцы Поволжья стояли. Они и выдолбили ледник в мерзлоте. Балышой! Пра-асторный! Повезло Бетховену. Давай туда, не ехать же пустыми назад!

— Музыкант что ли бывший?

— За шевелюру прозвали. Волосы — той бабе на зависть! Художник. Все рисует. И краски есть у него всякие чудные. Только не любит, когда спрашивают зря. Набычится и молчит. Вообще, чудной мужик. Собак не держит. Кошку. Каждую зиму она у него замерзает, и каждый раз ему привозят новую. Такой вот "привет" у парня. Ну — сам увидишь!

Гриша долго молчал, переваривая информацию, затем спросил невпопад:

— А почему этот — Усак?

— Исаак он. Так поп окрестил. А Усак проще сказать!

— А-а-а...

Ефим проснулся под вечер. Холодная похмельная испарина, слабость, сухость во рту, придавленность и душевная боль, хоть волком вой, хоть в петлю лезь...

Тяжело поднялся. На столе и в небольшом, три на четыре метра, помещении, полный разгром: грязь, пепел, окурки, пустые банки-бутылки и залепанный грязью пол. Очередные гости "отвалили" в крепком угаре, не прибрав за собой. Простреленный потолок, со стен ухмыляются продырявленные красотки.

— Ну ладно, будем жить дальше. Пошли-ка, парень, умываться... Ты все-таки интеллигент, Бетховен, есть у тебя и мыло пушистое, и полотенце душистое, и густой порошок и зубной гребешок. И не надо, не надо! Не делайте из Ефима Копылова последнего алкаша, леди энд джентльмен!

Так, вполголоса балагурия и усмекаясь над самим собой — лучшее средство от похмелья и черной тоски, ког-

да в полярную ночь и в пургу хочется сунуть дуло в рот и разом покончить со всеми проблемами, Ефим спустился в распадок, к ручью метрах в двухстах от избы.

Здесь он разделся и долго, тщательно мылся в холодной воде, чувствуя, как вместе с телесной сходит и душевная грязь.

Принес затем два ведра чудесной чистой и звонкой воды, налил в бак на печи, плеснул на сырые дрова солярой из банки, разжег огонь.

Ровно гудела печка, а он скоблил полы, стены, стол. В первую очередь сорвал со стен похабных красоток, наклеенных в его отсутствие заезжими ухарями, и забил чопики в дырки от пуль. Забелил известкой темные пятна и отошел посмотреть. Покачал головой и принялся белить стены во всей избе заново. Относительно быстро справившись с этой работой, еще раз нагрел воды и вымыл буйные свои кудри, нисколько не поредевшие за 35 прожитых лет. Так, но где же кошка?

Нэсси, Нэсси, Нэська! Иди сюда! Это я, извиняться пришел!

С крыши пристройки послышалось мягкое “мур-р”, и Нэська ловко прыгнула на плечо хозяина. Рыльце у кошки было в пуху. Летом Нэсси промышляла сама, а то с таким-то хозяином и ноги протянешь...

— Ты прости меня, Нэська, прости, зверек пушистый, с похмелья херня всякая мерещится, “вольтов” погнал, чуть вот не пристрелил тебя, бабоньку мою единственную... Нет мне оправдания, дурню пьяному, нету...

Нэсси мурлыкала и терлась усатой мордочкой об ухо хозяина, теплый ветерок ее дыхания скользил по щеке. На лбу кошки подсыхала свежая царапина.

— Знаешь, за что я тебя люблю, Нэська? Зла не помнишь! Все прощаешь мне, “приветливому”. И обиду. И невнимание. И накормить позабуду, и воды не поставлю, и чуть не убил тебя просто так, а ты все “мур-р” да “мур-р”, незлобивая твоя душа. Завязывать буду, Нэсси, точно тебе говорю! А то крыша поедет. Раз бросил для жены, раз для начальства, а теперь для тебя брошу! Твердо решил. Поняла? Мр-р?

— Мр-р, — подтвердила Нэсси.

— А весной, с полочки, поедем на материк! Пять лет не был... Маришке уже восемь... Возьмем ее — и к бабушке на ягоды! Как думаешь, отдаст она нам Маришку? Отдаст, конечно! Деньги мы высылаем, письма пишем. Она отвечает... Может, все втроем и поедем, а, Нэська? Может, все еще хорошо будет, а, зверечек?

А какой там кот! Какой там Васька! Усатый-полосатый, хвостатый да глазастый! Ворюга, конечно, и алиментщик, но зато какой красавец! Если у вас возникнет взаимная симпатия, дай вам Бог красивых котятков. Одного с собой возьмем. Мр-р?

— Мр-р... — согласилась Нэсси.

— Ну, тогда пойдём, пару курочек подстрелим. Надо ж и мяса отведать, а то все рыба, да рыба — надоело!

Ефим сходил в дом за ружьем, сунул в карман горсть патронов. Кошка продолжала сидеть на плече, зорко вглядываясь в кусты.

У ручья из-под самых ног вспорхнула стайка куропаток. Ефим отпустил подальше и сдулетил. Две птицы

упали замертво. Третья забилась в высокой траве у воды. Нэсси прыгнула, на слух пробилась сквозь кусты и...

— Ма-а-у! — раздался победный кошачий вопль!

Кошку стало не узнать. Из милой домашней игрушки она в миг превратилась в безжалостного хищного зверя. Зрачки расширены, шерсть дыбом, урчит. Куропатка схвачена за горло, и чем сильнее она трепещется, тем сильнее сжимает кошка зубы и крепче встряхивает птицу.

— Ну, хычница, ну, тигра дымчатая, отдай, кто стрелял?

— Мау! Чур — на одного! Чурр-р, — урчала Нэсси.

— Эх ты, жадина! Дай хоть кусочек!

— Мау! Не подходи! За себя не ручаюсь! Ур-р-р!

— Хорошо, что ты считать не умеешь! У меня еще есть!

Ефим вернулся в избу. Уютно устроился у печки и принялся ощипывать еще теплых птиц, складывая пух и перо в полиэтиленовый мешочек — на подушку. Спокойная домашняя работа дала и новый ход мыслям. Рассматривая свои дрожавшие руки, — большой палец правой руки дергался, и усилием воли остановить этот “подерг” не удавалось, — Ефим только сейчас понял, что опять глубоко “увяз”. “Думал, на зимовке отдохну от нее — так сами привозят!”

“Да, парень, если дальше так пойдет — точно “крыша” поедет. Это кошка тебя прощает. Люди не поймут... Завязывать надо, в самом деле завязывать надо. С водкой с этой как и не живешь на свете — дней не помнишь...”

Родителей Ефим не знал. Бабушка забирала его из детдома на лето к себе в деревню. Милая бабушка! Как она гордилась внуком, когда он закончил институт, и как плакала потом, когда он разошелся с женой...

... В первый раз попробовали вина еще в пятом классе. Тайком. А в восьмом уже считалось лихостью прийти в школу слегка “под шофе”. В десятом пробовали все, что горит, но настоящая перманентная пьянка началась в студенческие годы, с легких денег, которые давал ему талант художника. Думалось: “А! С понедельника брошу!” Но понедельник этот так и не наступил. То друзья, то левые деньги, а то просто так, со скуки...

— Ты чо, паря, делаешь? — сказала ему как-то вахтерша, баба Маня, — ты, гля, пожелтел весь! Водка, она прилипчивая!

— Брошу, баб Мань, брошу, просто шас сам не хочу!

— Это, значит, вторая стадия у тебя. Мужик думат брошу, просто пока сам не хочу, а на самом деле, Сатана, который в бутылке, уже крепко держит человека... Ты с етим не шути. Молодой ведь ишо, жись себе спортишь, кому потом нужен?

Слова бабы Мани крепко запомнились Ефиму именно потому, что это и был тот самый “вокс попули — вокс деи” (“глас народа — глас Божий”) в справедливости которого не приходится сомневаться. А на пятом курсе, когда прогулял чуть не семестр и едва не отчислили, сам пошел к наркологу. Закодировался. Сдал экзамены. Получил диплом и работу. Женился. Но хитренькая мысль “а пошли вы все с кодами с вашими — я сам себя хозяин!” осталась в подсознании.



На два года только и хватило. Потом пошло-поехало. Сначала пропивание полочки и недоразумения с женой, потом ссоры с женой, потом скандалы с женой, потом вообще перестал домой приходить, частенько ночевал просто у случайных "друзей". Потом пошли опаздывания на работу, прогулы, увольнения одно за другим, потом стал пропивать свои картины, продавая их за бесценок, потом выносить из дома вещи...

Он взглянул на фото на стене — Анюта с грудной Марришкой на руках — и вновь услышал горькие слова:

— Ты бросишь? Сто раз слыхала! Никогда не бросишь! Устала я, Фима, кончилась моя вера... Последнюю десятку спрятала, под ножку стола сунула, и там ведь нашел! Молока купить не на что, а он уже готовый!

Что тебе жена, что дочь, что собственный талант, что будущее дочери! Все в бутылке утопил и первым — стыд! Чем так жить — лучше одной!

После развода она подошла к нему в коридоре суда:

— Если правда бросишь — приходи... — и тихо, ласково провела рукой по рукаву его пальто от плеча к запястью. Такая у нее была привычка.

Ефим тогда уехал. На Север. Друг помог. Устроил рыбаком-охотником, показал поначалу что да как. Думалось: хорошо в тундре. Ни тебе друзей, ни магазинов, по неволе сам бросишь.

Только от себя не убежишь. По приезду в поселок, как не отметить конец сезона? Сколько новых друзей и приятных знакомств, и водка рекой на недели и месяцы...

Впрочем, прежде чем загулять, — а крупные загулы случались дважды в год: с пушного сезона и с рыбного, — Ефим всегда отсылал ровно половину зарплаты бывшей жене, хотя она на суде и отказалась от алиментов. И писал короткое письмо. Она всегда отвечала. Все, что он хотел знать о дочери, Ефим знал из этих писем. О себе же никогда ничего не написала. Как чужая, как быть, как сон...

Всю неделю стояла прекрасная погода. Рыба ловилась — успевай выбирать! А в пятницу Ефим взял лопату и рюкзак, подался поправлять охотничий путик. Ночевал в промысловке, километрах в десяти от избы. В субботу, в середине дня, услышал "гостей". Комариный писк мотора нарастал и, наконец, километрах в пятнадцати выше по течению, на воде, проявился черный жук с белыми усам по бокам.

Ефим не стал спешить назад. Пускай сами себе обед готовят! Мяса все равно нету, а рыба — вот она, в леднике, дверь палкой подперта!

— Ну, по маленькой! — враз рывкнули оба уха, едва Ефим отворил дверь, — проходи, хозяин, гостем будешь! Жуликоватые рожи гостей сияли таким неподдельным счастьем, такой радостью, что Ефим не мог не рассмеяться. Подошел, поздоровался, познакомился с Гришей.

На столе дымилась уха, красовались огурцы-помидоры, желтели яблоки и янтарно светились бананы! Желтый вечерний луч взблескивал на упругих ягодах черного винограда и медовыми каплями стекал с винограда белого. "Продолговатый и прозрачный, как перси девы молодой", сразу вспомнился Пушкин.

— Ай, молодцы! Ай, спасибо, распотешили душеньку! А я слышал лодку. Иду, да ругаюсь. Многие ездят за рыбкой. А хоть бы раз патронов, хлеба свежего или пожарить чего путного привезли. Нет! Никто не подумает. Все норовят водкой отдать!

— Обижает, начальник! — пробасил Миша, — самолет по свежаком был с материка. Как не взять для Бетховена? Лепший друг на всю тундру!

Ни грубая эта лесть, ни мысль о том, что теперь-то уж пол-ледника выгребут за фрукты, не испортили настроения. Бананы и виноград! Такого еще не было на этой зимовке со дня ее основания! Да и не такие уж плохие они люди, эти гости, старались ведь именно для него. А рука у каждого к себе гнется...

— Ну, раз вы тут хозяйничали — наливайте ухи! — Ефим хрустнул огурцом и взял ложку.

— Сначала стопочку, без нее уха — не уха! — Миша пододвинул "стопочку", полстакана проклятой жидкости.

— Не пью, — коротко бросил Ефим.

— Это как? — после паузы удивился Миша. — Бросил что ли?

— Бросил, — без эмоций пояснил Ефим.

— И давно? — не без издевки.

— С неделю как. Решил: хватит! Свою норму я выпил!

— Вот это правильно! Решительный ты мужик! Даже не ожидал от тебя. Вот за это и надо выпить!

— Ты по-русски понимаешь? — начал заводиться Ефим.

— Только без нервов! А ну-ка, Гриша, оп-па!

И Гриша — оп-па! — вынул из сумки длинную зеленую бутылку с красивой этикеткой.

— Не нашенская. Ребята пробовали — годится. Слабая токо. Оно понятно — сухач!

Ефим взял бутылку, покрутил в руках, посмотрел, прочитал надписи. "Аликанте"! Испанское вино на Таймыре, на 73 параллели! Ну, хлопцы-рыболовцы, удивили! Показалось даже на миг, что это не "меновщики" приехали, а старые институтские друзья пожаловали.

— Ты ведь себе зарок на водку давал? А это сухое. Компот. Водичка сладкая!

— Это так. На вино не зарекался... На-аливай!

После вина, за разговором пошла и водочка. Миша с каким-то даже злорадством наполнял "стопочку" хозяина зимовья, лишь только она опустеет. Вторая, третья, пятая...

Проснулся Ефим к обеду следующего дня. Проснулся, чувствуя себя последней мразью. Мрачно оглядел картину вчерашнего "побоища". То же самое, что и неделю назад. Так бросишь ты, Фима, или нет! Или ты последняя тряпка, и судьба тебе умереть, задохнувшись в блевотине? Боже, как тяжело! И не на кого опереться... А эти чужие, чужие...

Кое-как растолкал гостей. Похмелились, вяло заели остатками. Пошли грузить рыбу.

— Сколько надо? — Ефим открыл ледник.

— Да с полтонны, — просто ответил Миша. — Зима, она длинная. Да и друг вот приехал. Ему с собой.

Друг Гриша ласково улыбнулся и заглянул в глаза.

— Так ведь не увезете!

— Мотор новый, потащит!

— Как знаешь... Я тут список составил, чего мне надо к зиме. В следующий раз привези, по возможности. Без водки. Бросил.

“Видели, как ты “бросил”, — хотел съязвить Миша, но вовремя прикусил язык.

Десять мешков мороженой рыбы перекочевали из ледника в лодку.

— Хватит?

— Давай еще пару!

Ефим молча вынес еще два мешка. Попрощались. Перегруженная лодка тяжело отошла от берега. Мотор не вытягивал судно на глиссер.

— Скидавай мешка три! — крикнул Ефим. — Говорил же!

— Куда уж теперь! Назад — примета плохая. Так по-чапаем!

— Пока!

Вернувшись в избу, Ефим сходу набулькал себе полстакана и опрокинул в рот.

Не жалко рыбы. Жадность человеческая изумляет. Вместо четырех часов будут теперь “чапать” все пятнадцать. Но зато под завязку...

Хмель не брал. Выпил еще полстакана. “Завтра брошу. Расстроили меня эти... Лучше б не приезжали...”

Он подошел к печи, натолкал в нее дров, плеснул солярой, прикрыл дверцу, не опустив шею и, как был, в одежде, бросился на кровать...

В печке стрельнули дрова. Дверца приоткрылась, и на железный лист выкатился уголек.

Упал он на соляровую капелю. Она вспыхнула. От нее загорелась соляровая дорожка. Огненная ниточка пробежала к банке и легко заплясала по верху, сладко вдыхая пары и раздуваясь в шар. Минута — и огонь, цепляясь красными когтями за дерево, взлетел к потолку.

Нэсси, спавшая на своем ящике у печи, тревожно мяукнула, перескочила на кровать к Ефиму и стала рвать его когтями за плечо. Но тот лишь бормотнул что-то в пьяном сне и рукой смахнул кошку на пол. Огонь уже тек по потолку, как вода, и кошка, вспрыгнув на захламленный стол, исчезла в форточке...

А Ефиму снится море. И пляж. На втором курсе как-то ездили всем факультетом в Геленджик. Купались, дурачились и пели песни под гитару у костра.

Как весело и жарко трещит костер! Ну, кто перепрыгнет? Эй, не бросайте сырые ветки, от них дым и трудно дышать!

...Так жарко и так тяжело. Так пахнет дымом. Говорил же вам, не подбрасывайте больше в огонь!

Наконец, Ефим сильно закашлялся и проснулся. Секунду он лежал, весь во власти сна и похмелья, затем разом все поняв, сорвал со стены уже горячий карабин скатился на пол. Патроны! Сейчас начнут рваться патроны!

У самого пола еще можно хлебнуть воздуха. Ефим нашарил под кроватью коробку с винтовочными и ружейными патронами, сунул ее в ящик с кистями, красками, готовыми и неготовыми картинами, набросками, этюдами, — самым дорогим, что было для него в зимовье, и закрыл ящик на оба крючка.

Схватил тяжелый табурет и, резко приподнявшись, хрястнул им в переплет оконной рамы. И зря. Рама выдержала, но из разбитого стекла потянуло воздухом, и огонь зверем загудел над головой. Опять упал на пол. Дышать уже тяжело. Еще раз вскочил и обрушил табурет на окно. Переплет треснул, но табурет застрял в двойной раме и вырвать его не удавалось. И тут разом вспыхнули волосы на голове и загорелась одежда.

На полу он сбил с себя пламя, но воздух в легких кончился. Передняя стена, у печи, и входная дверь — сплошное пламя. Но другого пути нет. Прикрыв лицо ящиком, а стыдное место левой рукой, Ефим бросился на входную дверь, и она, полусгоревшая, после второго удара рухнула. Пробежав по коридору, — огненной трубе, — Ефим вывалился во двор, отбросил подальше ящик и карабин, покатился по мху, сбивая с себя огонь. Жадно глотая воздух, сбегал вниз, к реке и кинулся в воду. Холод вернул способность рассуждать.

Пламя уже пробило крышу зимовья. Изба — сплошной костер. Там уже ничего не спасти. Но в сарае, метрах в десяти от избы, снегоход “Буран”, лодочный мотор, сети, запчасти и прочий рыбацкий скарб. Вплотную к стене сарая — две бочки с бензином. И дом и сарай стоят на глинистом бугре, но если взорвутся бочки с бензином, огонь перекинется в тундру, а сушь вон какая уже неделя...

Глотая злые слезы, Ефим вскарабкался на берег. Крыша сарая уже горела и обе бочки ощутимо нагрелись. Ефим откатил их в распадок, к ручью, обмотал голову какой-то тряпкой и рванул дверь сарая. “Буран” завелся сразу, как ждал. Ефим отогнал его туда же, к ручью, и вернулся. Черный рубероидный жир тек сверху на едва прикрытое обгорелым тряпьем тело, продолжая гореть, как напалм.

Лодочный мотор удалось вырвать, все остальное уже горело. Сети, подвешенные на поперечной балке, стекали вниз желтым капроновым клеем.

Все! Теперь в поселок! Держись, доктор! Будет вам работы — ставить заплатки на дырявую шкуру Ефима Копылова! И ты, Фима, тисни, тисни зубы, крепись. Это еще не боль. Вся боль еще впереди!

Он снова полез в воду, смывая с себя жуткий запах паленых волос, тряпок и горелого мяса. Медленно вышел из ласковой, снимавшей боль воды и осмотрел, наконец, себя самого.

Наверное, только лицо да это самое место, то, что прикрыл, остались нетронутые огнем... Да, парень, плохо твое дело... Четыре часа до поселка... Три канистры бензина... За четыре часа не помру ведь... Ну, больно, ну, буду водой себя поливать... Пошли, Фима, пошли...

С трудом набрал он канистру, добавил масла и снес вниз, к лодке. Сердце билось у самого горла, все тело тряслось от озноба. Качало, как пьяного. С тоской глянул Ефим на береговую кручу и решил, что больше не полезет вверх... До ручья, да назад... И одной канистры хватит добраться до Усака. У того рация...

— Нэсси! Нэсси! Нэська! Иди, поедем! Не сгорела же ты, в самом деле!..

Ефим выбрал якорь, оттолкнул лодку от берега и тяжело перевалился через борт. Лодка тихо пошла по течению.

нию, а он, намотав на маховик заводной шнур, резко дернул.

Мотор чихнул и замолк. Ничего, сейчас заведется. Сейчас, посижу только немножко... И тут темнота, поднявшаяся, наверное, со дна реки, убрала свет из глаз... Чтобы не выпасть за борт. Ефим ухватился за руль и опустился на сиденье.

Так, без сознания, пробыл он довольно долго. Когда очнулся, понял, что лодку снесло уже километра на три. Фарватер здесь проходит у самого берега, и высоко над лодкой, на фоне желтой, к холоду, зари проплывали темные лиственнички.

Первая звезда проткнула вечернюю синь, дальний остров, как лодка оверкиль, и закат, как пожар. Вдоль берега бойко скачет вслед за лодкой песец-шенок в серой еще шубке. Любопытный... Ефим попытался подняться, но не смог даже рукой пошевелить. Не осталось, кажется, и самого дыхания...

“Как, смертушка моя, приходишь ты не вовремя, как не вовремя приходишь ты, нежеланная! Еще ноженьки не набегались, еще глазыньки не насмотрелись, уши не наслушались. Еще тянется рука к холсту и полно в голове новых замыслов. Совсем не ждал я тебя сейчас, совсем не чаял, что это будет сегодня...”

Звездочка настойчиво смотрела прямо в глаза. Ефим догадался, чего она хочет, и четким полупшепотом выговорил вслух то, что среди гордыни и суеты повседневной так и не сказал даже в трезвую, чистую минуту:

— Господи, я грешник! Прости меня и спаси! Дал Ты мне жизнь, молодость, талант. Не сумел я, не сумел распорядиться...

К утру выпала обильная роса и покрыла лодку, затвердевшую руку, сжимавшую заводной шнур и запрокинутое к небу лицо с открытыми глазами.

Внезапно налетевший хиус сыпанул снегом и отогнал лодку на середину реки, где ее подхватило течением. Зверек, бойко скакавший за лодкой вдоль берега, спрятался от ветра в камнях. Уже совсем рассвело и хорошо видно, что это вовсе не песец-шенок. Это крупная дымчато-серая кошка с белой грудкой и свежей царапиной между коротких ушей...

У себя в общаге, на кухне, мы с Пал Палычем готовили ужин. Он потрошил налима, я чистил щуку. Муторное это дело. Кто чистил щук, знает, какая у них мелкая, крепкая, будто приклеенная к телу чешуя.

Вошла Валентина, жена Миши Каталова. У нее в тазике два крупных чира.

— Откуда дровишки? — полюбопытствовал Пал Палыч, хотя прекрасно знал Мишкин способ ловли.

— Мой наловил! — не без гордости за мужа-добытчика ответила Валентина. — Умеет! И чистить легко, и щуке не чета!

Когда она отлучилась на минутку, Пал Палыч подошел к раковине и ткнул пальцем в рыбину. Оттаял только хвост, все остальное рыбье тело было еще твердым.

Вошла Валентина, открыла кран, пустив на чиров теплую воду. Пал Палыч обваливал мукой налими куски на столе и громко ворчал:

— Н-ну, норильский комбинат, н-ну, жлобы-пакостники, всю плероду по Таймыру спортили. Рыба под водой и та очумела, дуром прет в сети прям-м м-морожен-на...

Валентина низко наклонилась над раковиной. Крупная оловянная чешуя так и полетела из-под ножа.

Я отошел к окну. Резкий хиус рвал дымы из труб котельных, сыпал снегом на крыши, гнал по отвердевшим лужам сивые пряди. Тонкие лиственята, рядком высаженные вдоль южной стены, зябко ежились и, застигнутые врасплох равнодушной “плеродой”, тянули к окнам зеленые ветви, забитые слипшимся снегом. В одну ночь из лета стала зима. И вспомнился мне булгаковский Воланд: “Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды, плохо то, что иногда он внезапно смертен...” Как эти лиственнички, подумалось, зелеными угодившие в мороз. Но деревца весной оживут...

И чего это беспричинная тоска собирается в сердце? Ты не знаешь, Пал Палыч?



## Никандр ЕЛАГИН

Родился в Нижегородской области. Закончил факультет журналистики Московского государственного университета. На Таймыре с 1975 года. Работал собкором "Красноярского рабочего", редактором "Советского Таймыра". Стихи, новеллы, документальные рассказы и очерки публиковались в коллективных сборниках и альманахах, изданных в Кишиневе, Красноярске, Москве, Тирасполе. Член Союза писателей Приднестровья. Живет в Дудинке.

К 300-летию Российского флота

### ПОБРАТИМЫ АРКТИКИ

#### I. "Вундерланд" — "Страна чудес"

##### Необходимое предисловие

...Лето 1942 года: на огромном протяжении советско-германского фронта идут ожесточенные бои, ценой колоссальных усилий врагу удастся выйти к Волге. На северном фланге противник пытался наступать, но успеха не имел. Сосредоточив крупные силы своего флота на базах Норвегии, враг создает серьезную угрозу нашим морским коммуникациям. Гитлеровское морское командование намеревалось переломить ход событий в свою пользу: с этой целью готовилась специальная операция под кодовым названием "Вундерланд" ("Страна чудес") в районе к востоку от Новой Земли. К участию в этой стратегической операции были привлечены значительное количество подводных лодок и один из сильнейших кораблей немецко-фашистского флота — крейсер "Адмирал Шеер" с 11-дюймовой артиллерией. В его задачу входило уничтожение ледоколов и транспортов из состава караванов судов, осуществляющих переходы в Карском море и море Лаптевых.

16 августа крейсер вышел из Нарвика. Используя большую скорость хода, низкую облачность и густые туманы, "Адмирал Шеер" скрытно совершил переход к Северной оконечности Новой Земли, проник в Карское море: и опасность нападения на караваны судов в районе мыса Вилькицкого стала реальной. Казалось, ничто теперь не может помешать крейсеру выполнить свою коварную задачу: уничтожить артиллерийским огнем транспорты, танкеры и ледоколы, а также боевые надводные корабли сопровождения.

Но противник просчитался. Первую "подножку" поставила непредсказуемая Арктика: разведка оказалась неспособной вскрыть обстановку (подводные лодки эту задачу не решились, а единственный разведывательный самолет типа "Арадо", базировавшийся на борту крейсера, вскоре потерпел аварию из-за плохой видимости и затонул). Ставка на внезапность действий против караванов судов уже вызвала сомнение.

25 августа 1942 года фашистский пират предпринимает попытку выдвинуться к проливу Вилькицкого, но сложная ледовая обстановка заставила его возвратиться в центральную часть Карского моря. В любое время крейсер могли обнаружить: это же был период арктической навигации, когда по трассе Северного морского пути идут интенсивно караваны судов, совершают переходы отдельные суда, осу-

ществляются перевозки воинских, народнохозяйственных грузов, доставляется снаряжение и продовольствие для полярных станций.

Подобная задача была поставлена перед экипажем ледокольного парохода "А. Сибиряков": доставить зимовщиков и необходимые грузы для полярной станции. К полудню 25 августа судно находилось в районе острова Белуха. Около 12 часов дня старшина сигнальщиков "Сибирякова" Иван Алексеев доложил: "Слева по курсу на горизонте вижу дым!"

Обнаруженный корабль не ответил на запросы "Сибирякова", продолжал быстро сближаться, требовал передачи данных о ледовой обстановке и местонахождении караванов судов. Почувяв неладное, командир ледокольного парохода Анатолий Качарава сыграл боевую тревогу, экипаж занял свои места по расписанию. Капитан направляет судно к острову Белуха, чтобы в случае нападения потерять меньше людей. На Диксон уходит телеграмма об обнаружении крейсера, идущего без опознавательных знаков.

В этот момент "Шеер" сбрасывает маску: поднимает фашистский флаг, требует от "Сибирякова" застопорить ход и прекратить работу радиостанции. Следом за переданным сигналом "Спустите флаг, сдавайтесь!" фашистский крейсер открывает огонь по "Сибирякову". Качарава принимает решение вступить в неравный бой, и командоры "Сибирякова" во главе с Семеном Никифоренко открывают огонь по врагу из трехдюймовых пушек.

Это был героический поединок: транспортное судно противостояло бронированному мощному военному кораблю. Но силы неравны — "Сибиряков" теряет скорость в связи с повреждениями в котельном отделении. Много убитых и раненых. Кругом очаги огня. Как спасти людей? Недалеко остров Белуха, но до него не дотянуть. Командир успевает подтвердить ранее отданное приказание стармеху Николаю Григорьевичу Бочурко: как только все люди покинут судно, открыть кингстоны, затопить пароход...

Вторично раненого командира в бессознательном состоянии опускают во вторую шлюпку. В это время переворачивается первая шлюпка. Помощь тонущим оказывает боцман Андрей Тихонович Павловский. Под прикрытием дымовой завесы уцелевшая шлюпка направляется к берегу, но фашистский катер, спущенный с крейсера, перехватывает шлюпку. Гитлеровцы захватили в плен сопротивляющихся сибиряковцев. Пленных осталось 18. Погибло и погребено вместе с "Сибиряковым" 80 человек. Единственным членом экипажа, миновавшим плена и смерти, был кочегар Павел Иванович Вавилов. На шлюпке он добрался до острова Белуха и прожил там долгих 36 дней...

Фашистском крейсеру удалось добиться временного успеха — уничтожить "Полярный Варяг". Однако не была выполнена главная задача. Более того, в результате сопротивления "Сибирякова" утрачена внезапность, не удалось заполучить данные о ледовой обстановке в Карском море и нахождении советских караванов судов. В этой безысходной ситуации командир крейсера Меедсен-Болькен предпринимает последний отчаянный шаг, чтобы спасти "Страну чудес".

Над Диксоном нависла серьезная опасность: фашисты решили уничтожить склады и радиостанцию Главного управления Северного морского пути (ГУСМП), расположенные на острове Диксон, захватить пленных, карты ледовой обстановки и другие ценные документы штаба морских операций. Не встретив сопротивления, 180 десантников решают поставленные задачи...

Но тут враг просчитался. Предупреждение "Сибирякова" сыграло свою роль. На Диксоне из гражданского населения был срочно сформирован отряд ополченцев, приведены в боевую готовность суда, стоящие на рейде и у причалов

Диксона. Основной удар принял на себя сторожевой корабль СКР-19 (по-мирному "Дежнев"). Первые попадания по крейсеру охладил пыл противника. Батарейцы Николая Корнякова добиваются вторичного попадания, на крейсере возникает пожар в носовой части. Это больше всего встревожило врага. Он не только отказывается от своей затеи высадить на берег десант, но спешно прекратив огонь, покидает пролив Вега. Авантюристская операция "Вундерланд" окончательно провалилась. Фашистам не удалось достичь ни одной из поставленных задач.

"Преклоняюсь перед мужеством и героизмом полярников — экипажей и персонала научной станции на борту "Сибирякова", экипажей "Дежнева", "Революционера", артиллеристов и портовиков Диксона, — все они выполнили долг советских патриотов, — писал бывший командующий Северным флотом адмирал А. Г. Головкин. — Отпор, который они дали немецкому крейсеру, сорвал планы гитлеровцев".

Такую похвалу и годы не старят!.. Я посвятил этому подвигу свой многолетний поиск...

## 2. В августе 1982-го...

...Август 1982 года. Диксон отмечает сорокалетие обороны Арктического побережья от фашистского рейдера "Адмирал Шеер". Буквально все, от мала до велика, пришли на открытие обелиска, вставшего на Южной горе.

Незабываемое волнение и торжественность празднику придали ветераны Великой Отечественной войны, моряки-североморцы, впервые прибывшие сюда после тех памятных событий у Диксона. Это старшина второй статьи рулевой Иван Григорьевич Шнейдер, старший краснофлотец Алексей Иосифович Подлесный, краснофлотец Юрий Сергеевич Гудин, командир четвертого орудия Феоодсий Герасимович Фирсин...

Тогда автор этих строк впервые встретился с героями. Тогда же появилась и первая большая публикация в краевой газете "Красноярский рабочий". И первый отклик! Письмо написала М. К. Комракова, которая плывала вместе с мужем и сыном на буксире "Молотов". Судно находилось во время боя "Дежнева" с "Адмиралом Шеером" в акватории Диксонской бухты. Рассказав о своих переживаниях, подробно вспомнив детали того боя, М. К. Комракова подводила итог: "Вот такие были у нас дела в Сибири, в глухом тылу... Мне было очень приятно прочитать вашу статью, где вы упомянули наш поход. Это воспитание историей. Хотя и было небольшое наше суденышко, но оно безотказно служило, и команда была как одна семья во главе с капитаном П. А. Казариновым".

Не знаю почему, но именно тогда меня поразила формула "воспитание историей". Она как-то материализовалась в моем сознании, память вновь и вновь возвращалась к без вести пропавшему отцу, к ветеранам-североморцам. Их боль стала моей болью, их заботы — моими заботами. Вот когда я понял, память — это не только опорная часть нашего сознания, но и его движущая сила.

Как близка и понятна мне стала мысль поэта Егора Исаева о том, что человек не просто начинается своим отчеством и фамилией. Биография каждого из нас — это лишь тоненькая небольшая живая веточка в необозримо великой кроне дерева, которое называется историей.

Так начался поиск.

Первые адреса живых и здравствующих тогда дежневцев мне сообщали сами североморцы, участвовавшие в праздновании 40-летия обороны Диксона. Кое-что узнал в школьном музее диксонской средней школы, красные следопыты вели поиск долгие годы. О месте проживания некоторых героев арктического сражения подсказали в отделе пропаганды и агитации Диксонского райкома пар-

тии. Первые письма, как первые ласточки надежды, полетели в разные уголки нашей большой тогда еще страны...

Сначала в коротких ответах высказывались радость, удивление, сомнения и даже искреннее сожаление. И все по одному поводу: одни испытали радость оттого, что на далекой арктической земле знают и помнят о них, другие высказывали сразу предположение, как бы и в какое время лучше встретиться, а третьи справедливо упрекали: долгонько же — почти сорок лет! — ждали ветераны, пока о них, защитниках арктических рубежей Родины, вспомнят на Таймыре.

9 мая 1984 года, ровно за год до 40-летия Победы, в газете "Советский Таймыр" была открыта новая рубрика "На поверке — дежневцы". Даже если бы мне не предложили вести этот раздел окружной газеты, я все равно бы вызвался. Обратного пути не было. Я вроде снова примерил солдатскую пилотку и считал себя мобилизованным. Заметили эту перемену во мне и мои коллеги. И когда стали появляться материалы в газете, они подшучивали: "В окружной газете открылся военный отдел..."

Первым материалом стал рассказ писателя Владимира Рудного о Сергее Александровиче Кротове, человеке скромнейшем и мужественном. Он командовал действиями экипажа "Дежнева" и вывел его из боя победителем.

"Хоть раз в два года, — писал В. Рудный, — но обязательно летает на Север капитан второго ранга С. А. Кротов. В Севастополе он подбил черту своему морскому труду, работая в бухте Камышовой лоцманом. На Севере родился, на Севере, в Архангельской мореходке, основанной еще при Петре, полвека назад стал штурманом дальнего плавания. На Севере плывал и до войны и воевал в войну, а после войны, командуя "Пассатом", "Бриллиантом", "Жемчугом" (все — наследники погибших в Отечественную войну), Кротов, морской пограничник, ловил иноземных браконьеров и любителей всякого тайного промысла возле наших военных баз".

В 1982 году В. А. Рудный и С. А. Кротов встретились в Архангельске на сборе участников северных конвоев, побывали на Онеге, на родине Кротова, где он, шутка сказать, не был полвека... Сфотографировали друг друга и стали в честь "Персея", здесь построенного, — на том судне Рудный побывал во время войны в одной из бухт Рыбачьего. А Кротов помнит "Персей" с детства — его отец строил корабль еще в те годы, когда заводами на другом берегу Онеги владели concessionеры-норвежцы. Потом они вновь, как старые друзья, встретились в Севастополе. Там в душевном разговоре Кротов признался Рудному: точит его тоска по местам, где он плывал и воевал, где в августе 42-го состоялось его настоящее боевое крещение. "На Диксон бы хоть на денек, склонить бы голову над братской могилой матросов-дежневцев, отыскать бы деревянную домину, где лежал в полуметном лазарете, переkreщенный кровавыми бинтами, пока не переправили на восстановительный "ремонт" в Норильск.

...С Владимиром Александровичем Рудным мы встретились в том же 1982 году, на праздновании сорокалетия обороны Диксона. Он был удивительно интересным собеседником. И приезжал он сюда, на край света, не ради праздного любопытства, а как один из самых заинтересованных организаторов этой встречи ветеранов-североморцев на земле, опаленной войной. Он живо интересовался судьбами дежневцев и сибиряковцев. Видно было по всему, он накапливал материал для будущей книги. К этому времени в газете "Правда" появилось несколько интереснейших публикаций о моряках-североморцах. У него вышла книга "Готовность № 1" — о Николае Герасимовиче Кузнецове, человеке, отдавшем всю свою



жизнь флота, прошедшем путь от матроса до военноморского министра страны. Рудный хорошо знал Кузнецова и рассказал о своем герое с глубокой симпатией.

Но в те дни он жил уже другой книгой из серии "Герои Советского Союза", об адмирале флота Советского Союза Иване Степановиче Исакове. Помнится, он с захватывающим интересом очень спокойного и ненавязчивого собеседника рассказывал о ранении, смерти и воскрешении Исакова. Его службе революции тогда исполнилось ровно двадцать лет... И, наверное, движимый чувством исполненного долга, раненый адмирал, у которого началась газовая гангрена ноги, сказал хирургу, вынесшему решение ампутировать ногу: "Доктор, спасите мне голову".

И когда пришла телеграмма с метой "правительственная", хирург, будто предчувствуя ее значение, снова взял холодеющее запястье раненого, почти сжал в ладони и настойчиво сказал: "Иван Степанович, вам депеша из Ставки: "Не теряйте мужества. По мнению врачей, вы можете выздороветь... В случае трагического исхода лучший эсминец Черноморского флота будет назван "Адмирал Исаков". Сталин. Кузнецов".

Раненый открыл глаза. Пульс забился...

Владимир Александрович убеждал нас, что это не его вымысел, который ему потребовался для эффектного начала рассказа об удивительном современнике. Это свидетельство врача, знаменитого хирурга Бориса Александровича Петрова, который вспоминал случившееся чудо.

Потом в книге, подаренной мне родственниками сибиряковцев два года спустя, я прочитал: "Что же дало воле умирающего такой мощный толчок к жизни — реальность надежды, прилет жены или, быть может, гипноз имени, внезапное утолнение честодлюбия? Чтобы правильно рассудить, надо знать, какую жизнь прожил до этой трагической минуты человек".

И Рудный рассказал о выдающемся командире, флотоводце, военном теоретике, который более полувека отдал становлению Советского Военно-морского флота. Владимир Рудный написал честную книгу "о моряке до последней капельки".

Это отступление может показаться случайным, но, я думаю, что читатель меня правильно поймет, когда я сделаю еще одно запоздалое признание. Владимир Александрович Рудный во многом определил направление в этом творческом журналистском поиске; "Записывай подробнее воспоминания ветеранов. С каждым годом их остается все меньше и меньше. А как надо, чтобы память о них осталась в народе, не выдуманная, не напыщенная, такая, какая она есть — без прикрас, по-житейски трудная и сложная..." В одной из своих публикаций он очень емко и точно выразил эту мысль: "Мы часто произносим слово "память". Это очень важно помнить. Но у памяти должно быть продолжение — не только в мемуарах, в очерках, в музеях и на экране, но и в душах, в сердцах, в поступках тех, кто эту память наследует".

Помнится, приехав на Диксон с ветеранами-североморцами, он привез с собой записанное на магнитофонную ленту поздравление-воспоминание контр-адмирала Константина Ивановича Степина, бывшего командира артиллеристов СКР-19 (так по-военному именовался ледокольный пароход "Дежнев"). Это воспоминание звучало на встречах со школьниками, на торжественном заседании, посвященном 40-летию обороны Диксона, по местному радио. Я переписал это выступление на свой магнитофон и, рассказывая об этом празднестве по окружающему радио, не мог найти лучшего варианта, как начать с этой записи.

Бывший гангутец, североморец, журналист и писатель, он был связным между прошлым, настоящим и будущим.

К 40-летию Победы в Северо-Западном книжном издательстве готовилась книга "В конвоях и одиночных плаваниях". Владимир Александрович хотел написать послесловие к этой книге. Не успел. Смерть неожиданно оборвала его жизнь. И, вспоминая его взволнованную статью "Судовая роль", напечатанную в "Правде" в марте 1981 года, многие суда и корабли, о которых рассказал и которые посетил Рудный, посчитали бы за честь включить его в свой состав. С человеком, который считает, что "палуба судна — верхняя ли, в машине, в трюмах — всегда передовая. И не зароешься, не укроешься, окопа не выдолбишь, любое место — боевой пост, и роль у всех одна..." — можно уйти в море.

Рудный был на целую голову выше и по опыту, и по мастерству, но я ни разу не заметил по отношению ко мне, молодому, по сравнению с ним, провинциальному журналисту, ни позерства, ни превосходства, ни снисходительности. Он был на равных, как и в тот памятный вечер...

### 3. Первые письма, первые встречи...

...Мы сидели в номере диксонской гостиницы. За окном — белая августовская полярная ночь. Ветераны распивали чай, вспоминали, с кем сегодня встречались, о чем их спрашивали юные диксонцы. В разговор вступал и Владимир Александрович. Был он немногословен. Но хорошо помню: рассказывал он тогда о случае, происшедшем с ним в Архангельске. Кстати, этот случай он описал в одном из своих газетных выступлений, и я воспользуюсь им, чтобы не нарушать своим вмешательством этого повествования:

"Местное телевидение попросило меня участвовать в короткой передаче с Николаем Михайловичем Корняковым, когда-то лейтенантом и командиром тяжелой батареи, которая сумела прямо с причала открыть по "Шееру" огонь и с первых выстрелов попасть в него. Перед камерой Корняков сказал всего несколько фраз: о мгливой полярной ночи с морозящим дождем и о самом мгновении, к которому он, верно, готовился всю свою лейтенантскую жизнь, — мгновении открытия огня. Сказал — и заплакал".

Кто-то из ветеранов вздохнул и как бы между прочим сказал: "У Корнякова умерла жена, да и сам он болен, трудно ему, на письма отвечает..."

В это время, словно буйный весенний ветер, ворвался в дверь райкомовский шофер Юра и радостно возвестил:

— Я вам еще одного дежневца привез!

— Кого?

Все повскакивали с мест как молодые, так не терпелось узнать, кто еще из дежневцев откликнулся на зов.

В дверном проеме показался грузный, пожилой мужчина на костылях. Все, как один, узнали его и бросились обнимать. Так стояли они кругом, обнявшись, положив руки на плечи друг другу и сойдясь склоненными седыми головами...

Товарищи бережно усаживают Фирсина на кровать, а он, все еще не веря, оглядывался, рассматривал всех, руки его дрожали. Кто-то предложил:

— А ну-ка, чайку ему флотского!..

...Фирсин: "Все меньше нас, ребята... Через книгу Реданского узнал — Кубрякова не стало..."

Шнейдер: "Я с его сыном Виктором переписывался. Он прислал мне фотографию отца. Я отдал ее сегодня в

школьный музей и твою тоже передал. Может, тебе ее вернуть?"

**Фирсин:** "Нет, пусть, я и сам посылал в школу, просили красные следопыты".

**Шнейдер:** "Молодцы здешние ребята, хорошая память у них. Такой музей собрали! Нас не забыли!"

Фирсин совсем разволновался, то и дело просил налить чаю. Легонько поглаживая грудь с левой стороны, где сердце, приговаривал: "Жмет!"

— Что, был инфаркт?

— В семидесятом...

Но время ли думать о болячках — рядом кружком сидели боевые друзья. Рассказам и вопросам не было конца. Никогда в жизни мне не приходилось слышать столь длинных монологов, Феодосий Герасимович Фирсин рассказывал и рассказывал:

— Нас почти сразу ранило. Когда только подал снаряд, зарядили пушку... Ну, я по левой стороне замка стоял, а Карагаев — по правую. Наводчик Андреев — с другой стороны, Дали залп, в этот момент разорвался вражеский снаряд. Осколками засыпало ему живот. Мне правую ногу всю разбило, правую руку... Понимаете, за одну секунду вся жизнь промелькнула — от детства и до этого времени. Память какая-то быстродействующая. Упал, в горячах думаю: фашистам надо хоть как-то отомстить. Но ни рукой, ни ногой не владею. Я в одну сторону перевернулся, завалился. Карагаев — в другую. Хайруллина перед этим чуть не пополам разорвало. Один Курушин там... А потом и Курушина тоже ранило. Только Андреева и еще, забыл фамилию, матроса, — не ранило. Потом — Волчека. Он был пулеметчиком. Пулеметы бездействовали — не доставали. Кто выбывал из строя, пулеметчики заменяли. И Тонунц подбежал. Мы — основные были артиллеристы, штатные. Нас сразу четыре человека — двоих ранило, двоих убило... Тут дымовую завесу сразу метрах в пяти поставили. В дыму не видно, там троса какие-то, бухты, глубинные бомбы стоят. Расположение помню. Ползком, думаю, надо. Выползу на тот борт, там меня батарейцы Алимова и подберут. Так и сделал. Увидел, кричат: "Фирсин ранен!"

...Только на четвертые сутки удалось на самолете доставить из Норильска врачей, чтобы оказать настоящую помощь. Фирсину делали операцию последним.

Хоть и без ноги, остался жить красноармеец Фирсин. Долгое время лечился в Норильске, потом всю войну и после войны работал в этом заполярном городе. Женился, переехал в Красноярск. Здесь его и отыскал красноярский литератор Леонид Щипко. На торжествах в Диксоне они оказались в одном номере гостиницы. Утром Щипко скажет: "Что вы с ним сделали? Фирсин не спал всю ночь. Плакал..."

Кто знает, возможно, за сорок прошедших лет у него не было и уже не будет больше такого мощного эмоционального взрыва, как тот, вызванный бурей волнения от встречи с друзьями-дежневцами. Все верно в его негромко сказанных словах: "У меня с этим краем кровное родство, потому и связал с ним свою дальнейшую жизнь".

Второй очерк так и назывался "Кровное родство". Публиковался он в номере "Советского Таймыра" за 9 мая 1984 года.

Первые запросы мало что дали. Или ветераны не верили, что о них вспомнили через столько лет. Или мы обращались по устаревшим адресам — жизнь постоянно вносит свои поправки. Возможно, существовал какой-то психологический барьер между людьми незнакомыми. Надо было его устранить. Но как? Опыт работы подсказывал: надо положиться на силу печатного слова. В пись-

ма мы вкладывали первые наш публикации, рассылали по знакомым адресам вместе с простенькой анкетой, которую опубликовали в одном из ближайших номеров.

Одним из первых откликнулся боцман с "Дежнева". По старой боцманской привычке он немного пожурил нас за то, что мы так долго молчали, но, честное слово, было так хорошо на душе, когда читали его письмо! Так мы начинали создавать коллективный портрет героя-североморца, хотя, честно признаться, в их лексиконе это слово отсутствовало. Они писали о себе и о своих товарищах просто и кратко. Но за всем этим стояли большие и интересные судьбы настоящих защитников Родины, тружеников, которые в послевоенные годы, не жалея сил, работали на восстановлении разрушенных городов...

Итак, боцман Иван Федорович Петряев.

...Семнадцати лет Иван Петряев добровольцем ушел на Балтийский флот из тихого городка Павловска, что на Дону. В боцманской команде служил на линкоре "Марат". Демобилизовавшись, вернулся на родину, работал на пароходе-колеснике рулевым, но душа просила простора океанского, и в 1938 году по комсомольской путевке был направлен в Заполярье (Мурманск, Главсевморпуть). Через год был уже на "Дежневе" и оставался там до 22 мая 1945 года, когда на флагштоке вновь подняли Красный флаг СССР.

Потом были годы мирной работы в арктических морях. Последние десять лет перед пенсией трудился в Волго-Донском пароходстве, на пассажирских и буксирных судах.

Орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, семью медалями оценила Родина его ратный труд. Вот что писала газета "Северная вахта" в 1942 году: "Боцманская команда, возглавляемая большевиком Петряевым, показала образцы напряженной работы. В бою с сильным врагом И. Ф. Петряев проявил стойкость и бесстрашие. На корабле возник пожар. Руководя аварийной партией, Петряев под градом осколков умело боролся за живучесть корабля. Ликвидировав пожар, он поспешил на помощь командирам и мастерски управлял огнем пушек".

И вот еще одно свидетельство. Оно тоже взято из газеты. Но на этот раз о боцмане с "Дежнева" рассказывал диспетчер речного порта города Георгиу-Деж: "Энергичный и принципиальный, с обостренно развитым чувством личной ответственности, он всегда в гуще общественной и производственной жизни. Член партийного комитета, народный контролер и вместе с тем отличный специалист, неоднократный победитель социалистического соревнования — до всего у него доходили руки".

Снимки военных лет и подробный рассказ прислал с очередным письмом бывший начальник медицинской службы СКР-19 Юрий Борисович Брен, родившийся за месяц до Великой Октябрьской социалистической революции в городе Або (ныне Турку) в Финляндии. "Но я русский, — утверждает Юрий Борисович, — и к моему происхождению Финляндия не имеет никакого отношения. В это время шла первая мировая война, и моего отца мобилизовали на строительство Або-Аланских укреплений".

Тогда почему же автор письма носит такую фамилию? И, словно предвидя наш вопрос, Брен поясняет: "Фамилия моя французского происхождения". Прапрадед Брена — сержант наполеоновской армии, вторгшейся в Россию в 1812 году, был пленен и остался жить в России. И, как замечает с улыбкой автор письма, хорошо, что все так сложилось, иначе бы никогда ему не появиться на свет.



В начале июня 1941 года Юрий Брен после окончания четырех курсов Первого Ленинградского медицинского института проходил практику в Мурманске. Здесь его вместе с товарищами и застала Великая Отечественная война. Через неделю его с двумя товарищами определили как добровольца на СКР-19.

Начальнику медицинской службы СКР-19 Ю. Б. Брену самое главное боевое крещение пришлось испытать в глубоком арктическом тылу, в бою “Дежнева” с “Адмиралом Шеером”. Чтобы в дальнейшем повествование не вкралась неточность, пусть об этом лучше расскажет сам Юрий Брен:

“27 августа, во время боя, я находился в лазарете. Раненые хлынули потоком — и своим ходом, и на носилках. Вместе со своим помощником, санитаром Андреем Петровичем Кубряковым, оказывал помощь — перевязки, наложение шин, инъекции морфия, распределение на койки и по каютам.

Вскоре был вызван на мостик для оказания первой помощи старшему помощнику командира корабля Сергею Александровичу Кротову, взявшему на себя командование на время боя, ввиду отсутствия командира корабля Александра Семеновича Гидулянова, который был вызван в штаб и пошел на катере, чтобы определить подходящее место для установки пушек в проливе Превен. Кротов, раненный в руку и ногу, после перевязки отказался уйти с мостика в лазарет...

А меня уже звали к орудию на полубак, где раненый машинист И. Чумбаров в страшном возбуждении слал проклятия фашистам и никак не хотел идти на перевязку. С трудом уговорили его и помогли доставить в лазарет...

После боя прибывший тут же на борт командир приказал мне эвакуировать всех раненых в больницу порта Диксон. В больнице они находились на попечении врача Надежды Сергеевны Котельниковой и моем до прибытия на самолете из Норильска хирурга Владимира Евстафьевича Родионова, который мастерски провел необходимые операции. Семерых наших товарищей, погибших в бою, мы похоронили в братской могиле на острове Диксон. “Дежнев”, стоявший в Самолетной бухте, дал прощальный залп из орудий...

Первого сентября, заделав своими силами по возможности подводные пробоины, мы ушли в устье Енисея, в Дудинку на ремонт. Жители Дудинки устроили нам незабываемую встречу. В небольшом деревянном приземистом здании клуба собрались наши моряки и представители окружного центра. Были речи, были танцы. Я танцевал с очень симпатичной юной жительницей Дудинки — Надей Сергеевой. А вот какая была музыка, кто играл — не помню...”

Много теплых слов Юрий Борисович посвятил в своем письме своему помощнику Андрею Петровичу Кубрякову. Родом он из-под Щенкурска (Архангельская область), с детства работал с отцом на продольной пиле, окончил только четыре класса, потом — матрос на рыбных тральщиках.

“Жил он в кубрике, — вспоминает Брен, — был в курсе всех матросских дел и не раз подсказывал мне, кому из матросов нездоровится, а тот стесняется идти в лазарет или не придает значения своему недомоганию. Тогда я вызывал больного сам — и не напрасно...”

Возвратившись к мирной жизни, Ю. В. Брен закончил в Ленинграде пятый курс института, работал в районной больнице поселка Пестово Новгородской области. Защищал кандидатскую диссертацию. Почти двадцать лет, пе-

ред уходом на пенсию, работал в Благовещенске-на-Амуре.

Первое письмо от него мы получили из Днепродзержинска, где он прожил некоторое время, последние письма шли с обратным адресом из Новгорода...

#### 4. Норильск, Москва и другие...

Страницы норильской биографии команды “Дежнева” постарался написать заново, с уточнениями и подробностями норильчанин кандидат исторических наук М. Важнов. По воспоминаниям, литературным источникам и личной переписке ему удалось выявить североморцев с временной норильской пропиской: С. А. Кротов, Ф. Н. Гавричев, П. А. Васенин, Л. А. Кацман, Н. Е. Волчек, Ф. Г. Фирсин, И. И. Деров, М. И. Курушин, Г. Г. Марков, М. К. Жбанов, Ф. М. Голова. В отдельных публикациях причисляли к “норильчанам” и Гургена Тонунца. Эту ошибку допустили в одной публикации и мы.

“Да не был я в Норильске, — взмолился Гурген Оганесович. — Сколько можно ошибаться!” Тонунц действительно был тяжело ранен в бою при Диксоне. Однако долечиваться его отправили в Архангельск. Здесь он получил первую свою боевую награду — медаль “За отвагу”.

Все мы, люди старшего поколения, хорошо знаем советского киноактера, народного артиста РСФСР Гургена Тонунца, который неповторимо запечатлел образ революционера ленинской гвардии Камо (Симона Тер-Петросяна) в кинотрилогии “Лично известен”, “Чрезвычайное поручение”, “Последний подвиг Камо”. Сначала я даже не мог предположить, что киноактер и дежвеец Гурген Тонунц — одно и то же лицо. Но короткое письмо, пришедшее из Москвы, развеяло все сомнения. Письмо было лаконичным ответом на нашу анкету, поэтому мне представляется интересным привести его здесь полностью:

*“Дорогие друзья!*

*Получил ваше письмо, и хотя, честно говоря, очень не люблю рассказывать о себе, решил все же ответить на ваши вопросы.*

*Родился 2 сентября 1922 года в семье коммунистов с подпольным стажем. На флот в войну пришел добровольцем. На “Дежневе” — с первых дней войны. Во время боя у Диксона сначала вел огонь из крупнокалиберного пулемета, а потом перешел на орудие 76 мм на корме, после ранения в бою ушел воевать на сушу. Командовал взводом разведки. Был еще трижды ранен. Инвалид Отечественной войны. Награжден орденами Красного знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и шестнадцатью медалями. Почетный гражданин городов Новоукраинка и Шумен (Болгария). Народный артист республики, лауреат Государственной премии.*

*С дежвеецами переписываюсь и иногда встречаюсь. Вот, друзья, все, что могу сказать.*

*Ваш Г. Тонунц”.*

Скромное признание. Но чтобы познакомить с подробностями жизни и деятельности этого удивительного человека, потребовался бы отдельный рассказ. А нас торопят новые письма, новые встречи, новые знакомства.

...Этой объемистой бандероли я был особенно рад, не только потому, что откликнулся еще один дежвеец (это я узнал сразу же по обратному адресу — на нем значился город Харьков), но еще и потому, что для меня в этой бандероли нашелся богатый материал. Пересмотрев желтевшие от времени газеты, фотографии разных лет, почетные грамоты и специальный плакат, посвященный Александру Павловичу Алимову, я уже не сомневался, что эти экспонаты домашнего музея стали действительно

реликвиями, и они подлежат обязательному возврату. Эту просьбу мог бы и не высказывать Александр Павлович в своем письме. И все же он не удержался сделать приписку: "Надеюсь получить все обратно, так как на этих документальных материалах воспитывал и воспитываю своих сыновей (у меня их четверо) и внуков (их пока семеро)..."

На "Дежнев" было принято говорить "алимовская пушка", "алимовский расчет", "алимовская хватка". После окончания школы старшин Алимов пришел на СКР-19, назначен командиром расчета. При первом же знакомстве с артиллеристами своего расчета он убедился, что они еще не подготовлены по-настоящему к боевым действиям.

— Время не ждет, — сказал Алимов подчиненным. — Враг коварный и действует умело. Налетит на нас не ныне — завтра. Что же мы любоваться будем, или скажем, чтобы он подождал нас, пока мы подготовимся? Нет, уничтожать врага — беспощадно!

Настойчиво стал обучать Алимов артиллеристов четкому и грамотному владению боевой техникой. И скоро они уже могли доказать на деле, как могут стрелять. Всего несколько выстрелов понадобилось расчету Алимова, чтобы сбить фашистский самолет "Юнкерс-88", он рухнул в воду. С тех пор пошло обращение ко всем дежневцам: "Стрелять по-алимовски!"

После войны на Харьковском турбинном заводе, которому он отдал весь пыл своей неугомонной души, нередко говаривали: "алимовский резец", "алимовский процент", "алимовская турбина". И тут не было ничего надуманного.

...Четвертый цех уже давно причисляли к разряду хронически отстающих. Вроде привыкли даже к этому. Ни одну турбину не сдавали в срок. И все из-за крепежа. Болты, шпильки длиной до полутора метров и в диаметре до ста миллиметров шли с большим перенапряжением... Все-таки нашелся человек, который и ночами недоныпал, и после смены задерживался, чтобы решить одну задачку и вывести цех в лидеры. Решил-таки ее Александр Алимов! Оказалось все просто, как все гениальное: применил твердосплавные резцы, немного преобразил их на свой лад. Но эта простота дала производству неожиданный выигрыш: с одного станка стали снимать за смену вместо трех деталей... двадцать! Передовой метод новатора был обобщен в специальном плакате, выпущенном на ордена Ленина турбинном заводе имени С.М. Кирова...

Беспокойный характер нашего героя чувствовался даже по письму Алимова: "По-моему, осталась только одна братская могила, которую не могут навестить однополчане — это могила друзей-дежневцев. Кто виноват? Виновато расстояние... Но я верю, что мы и его преодолеем, чего бы это нам ни стоило!"

...А письма продолжали идти из разных уголков нашей страны. Теперь, когда редакционные машинистки спрашивали меня, много ли еще писем дежневцев, я отвечал уверенно: "Писем, как песен, у нас еще будет!"

В августе 1984 года гостем нашей редакции стал Владимир Георгиевич Реданский — сотрудник журнала "Морской сборник", один из первых писателей, занявшихся поиском моряков славного СКР-10 и написавший по материалам поиска интересную книгу "Арктики рядовой". Вскоре с Диксона, куда он уехал, пришло письмо с рассказом о необычной встрече на арктической земле.

27 августа Владимир Реданский у памятника погибшим в неравном бою на острове Диксон увидел стоящего в скорбном молчании статного немолодого человека.

На груди — золотая звезда Героя Социалистического Труда и знак лауреата Государственной премии СССР. Это был Александр Андреевич Пахалкин. Он не участвовал в том памятном бою, пришел на СКР-19 через два года. Последний раз на Диксоне был в сорок пятом году.

"В годы войны, — вспоминает А. А. Пахалкин, — втайне мечтал оказаться хотя бы на эсминце. И вначале был разочарован, не скрою, когда попал на "Дежнев". Но потом, узнав необычную боевую биографию в прошлом мирного судна, гордился, что довелось служить именно на нем. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что нас троих — меня, Леню Сахарова, Мишу Стрельникова — дружная семья дежневцев приняла как родных. Особенно вспоминаю уже, увы, ушедшего из жизни Андрея Анатольевича Назарьева — нашего старпома. Вот кто действительно проявил о нас подлинную отеческую заботу. Лично для меня это было особенно важно — на корабле довелось служить впервые..."

Так налаживались самые непредвиденные мосты через время, через расстояния, соединяя неповторимые человеческие судьбы. Один рассказ как бы предзнаменовал другой, а новое письмо служило продолжением следующего. Вот так случилось и сейчас: узнав из рассказа Пахалкина об Андрее Анатольевиче Назарьеве, мы невольно задали себе вопрос: а не тот ли это Назарьев, чьим именем назван рудовоз, который недавно зашел в порт Дудинка? Скоро теплоход "Капитан Назарьев", новенький, почти с иголочки (Государственный флаг на нем поднят 7 июня 1984 года) рудовоз усиленного ледового класса, построенный на верфи Ростока (ГДР), мы вновь встречали в Заполярье.

Первый помощник капитана Владимир Александрович Богомолов удовлетворяет наше любопытство: "Теплоход назван по имени известного в Арктике капитана Андрея Анатольевича Назарьева, бывшего дежневца, коммуниста, чей ратный и мирный труд отмечены орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалями. Продолжается новая жизнь Андрея Анатольевича Назарьева, который посвятил всего себя морскому флоту, пройдя путь от матроса до капитана крупнотоннажных судов. Мы дружили с Андреем Анатольевичем. Это был обаятельный человек, высокой внутренней культуры, знающий свое дело. Экипаж у нас молодой, но мы делаем все, чтобы память о ветеране не посрамить".

А мы снова вернемся к письмам, которых много накопилось за последнее время.

От бывшего радиста "Дежнева" Александра Васильевича Новожилова пришло письмо из Ленинграда. Из Архангельской области откликнулись сразу четыре дежневца — Анатолий Михайлович Кузнецов, Федор Асафович Неклюдов, Михаил Никанорович Усачев, Константин Федорович Смирнов...

М. Н. Усачев — крестьянский сын. На присланной фотографии он сидит на деревянной лавочке у высокого, добротного срубленного деревянного дома. Спокойный, мудрый, уверенный в себе. А по глазам и морщинистому лицу нетрудно прочитать, что годы не шадил ветерана.

Еще до войны он успел пройти путь от матроса до начальника одной из пристаней Северного пароходства. Войну встретил в зрелом возрасте — ему был 31 год. Очень гордился тем, что орудием, у которого он стоял, сбит первый фашистский самолет в Мурманске. Мужественно действовал во время боя с "Шеером". До конца войны конвоировал транспорты по Северному морскому пути. За войну имеет медаль Нахимова. Как известно, эту медаль вручают за особую матросскую доблесть.



После войны Михаил Никандрович пять лет занимался промыслом морского зверя на Новой Земле. Вернувшись в родную деревню Варамино, работал председателем колхоза, председателем сельсовета. У него большая семья, семеро детей. Успели подрасти и порадоваться с женой Анастасией Филипповной. Успели порадоваться и внукам.

“Думаю, что жизнь свою я прожил не зря, — заканчивает письмо М. Н. Усачев. — Родину защитил, детей воспитал”.

### 5. “Не просто убить брата-моряка...”

Из белорусского городка Лунинец откликнулся командор с “Дежнева” Семен Андреевич Гальковский. С первой до последней минуты боя под Диксоном он был на боевом посту, на носовом оружии, бил по врагу, как подобает североморцам. Кроме него, как сообщил Гальковский, воевали еще два брата: один погиб, защищая город Ленина, второй защищал Сталинград.

Возможно, никогда бы не встретились уроженцы Вологодской области, если бы судьба не свела их в одном боевом экипаже СКР-19. Иван Петрович Майоров — корабельный химик, бессменный комсорг, и Василий Иванович Отрубин — наводчик орудия. И вот теперь их письма тоже сошлись у нас в Дудинке.

Как напишет Отрубин, после войны люди, перенесшие тяжелые испытания, как-то по-новому глядели на мирную жизнь, старались сделать все, чтобы залечить раны. Вернувшись домой, в родной поселок, Василий женился на вдове, муж которой отдал жизнь на фронте, вырастил их совместную дочь. И еще совместных четыре сына и две дочери воспитали супруги. Особая гордость Василия Ивановича — его сыновья, все классные специалисты: умеют управлять трактором и автомашиной, работают в одном леспрохозе.

...Когда израненный корабль надо было прикрыть от вражеских глаз дымовой завесой, вступил в свои обязанности химик Майоров. А чтобы завеса была более плотной, комсорг полез на мачту и зажег там дополнительные дымовые шашки. Уже спускался с мачты, как почувствовал удар в спину. Но боли не было. Спрыгнув на палубу, Майоров извлек из противогазовой сумки горячий рваный кусок снаряда и сказал вгорячах:

— Шалишь, фашист, не так просто убить нашего брата-моряка!

— Долго будешь жить, Иван, — шутили потом друзья-североморцы, когда спало напряжение боя, узнав о том, что Майорова спасла противогазовая коробка.

По возвращении с фронта Майоров закончил институт, вырос от мастера до директора маслокомбината. Перед уходом на пенсию в 1980 году работал преподавателем технического училища, готовил специалистов для молочной промышленности.

Прошло почти сорок шесть лет с памятного дня, когда североморцы прошли настоящее боевое крещение на “Сибирякове” и “Дежневе”, расстались, но по-прежнему крепка их дружба. Стоит отыскать одного из них, а через него дорогу можно проложить ко второму, третьему...

С годами у каждого журналиста формируется главное направление в творчестве. У меня, наверное, уже больше не будет более важной темы, чем судьбы защитников арктического Диксона. Много о них написано в последние годы, но все же у каждого из пишущих есть свой взгляд, свое отношение к этой теме.

Каждый год, когда май спешит к девятому, а июнь — к двадцать второму, беспокойно спят ветераны. И это волнение передается мне. И я уже не могу проехать ми-

мо во время отпуска, если знаю, что где-то рядом по известному адресу живет дежновец или сибиряковец. Я снова спешу на встречу.

...Было раннее утро, когда я, пройдя через калитку и чисто прибранный дворик, постучал в дверь небольшого домика, где должен жить Павел Данилович Орлов.

На летнюю веранду, приспособленную под кухню, вышел пожилой, высокий, чуть сутуловатый мужчина. Знакомимся. Наше письмо он получил, но по болезни все откладывал ответ. Руки его вздрагивали, на щеках появился румянец. Глаза, еще не отошедшие ото сна, вдруг потеплели и засияли молодым блеском.

Родился и вырос Павел Данилович в многодетной семье под Ростовом, отец разъезжал в почтовых вагонах, а сына потянуло к себе море. Надолго?

“На всю жизнь, — подтверждает Павел Данилович. — Сначала — на “Сибирякове”, затем — на “Дежневе”. Начинал кочегаром. На “Дежневе” был машинистом. Потом третий механик на “Седове”, весь Север обошел, все острова, все полярные станции и зимовки — везде подставлял свой горб Арктике. Тяжелая же эта ноша! Испытал коварство пролива Вилькицкого. Туда он тебя пустит, а обратно — надо с ним биться. И кто — кого... Перед войной, в зиму с тридцать седьмого на тридцать восьмой год, зимовал у Северной Земли. Трудная была зимовка. Что запомнилось? Утром встаешь — подушку от борта отдираешь, примерзла. Из бочки смастерили печку. Уголь экономили. Зимы — длинные, полярные. Но никогда не было отчаяния, одиночества”.

Орлова я разыскал под Одессой, в пригороде Ильичевска. И, пожалуй, близость другого моря, более теплое, чем Карское, навеяла новые мысли. Именно после знакомства с Орловым я стал находить в биографиях “Дежнева” и “Сибирякова” неразрывную связь. Вместе они выполняли мирные операции, не раз участвовали в совместных конвоях. Да и подвиг “Сибирякова” как бы предзнаменовал подвиг “Дежнева”.

“Что еще объединяет эти ледокольные пароходы? — переспрашивает Павел Данилович. — Наши люди. Эти корабли — побратимы. Их экипажи дополняли и пополняли не раз друг друга. Да вот хотя бы меня возьмите: на “Сибирякове” прошел школу моряка под руководством Павла Вавилова. Да, того самого Вавилова, который спасся на шлюпочке, много дней голодал, пока его не снял полярный летчик Черевичный. Хороший был человек, наставлял он уму-разуму не назиданиями, а личным примером. Сильный был и добрый... Бой “Шеера” с “Сибиряковым” походил на борьбу слона и мышонка. Как дал крейсер дуплетом, так насквозь и просадил “Сибирякова”. В одну такую пробоину чудом удалось пройти Вавилу... Долго он плавал на “Сибирякове”, усидчивый что ли был. Другие рвались в заграничку, а мы — на зверобойку, в Арктику...”

Разбередил я душу Павла Даниловича. Он не жаловался на болезнь, как бы вскользь сказал, что вот, мол, уж на пенсии несколько лет. И сейчас бы работал, если бы несчастье не подстерегло — случилось, машина наехала. Жена Тамара Игнатьевна, с которой они сорок лет прожили, заметив тень на лице мужа, забеспокоилась, вступила в наш разговор, чтобы увести его в сторону.

Письма, письма...

Так получилось: сошлись еще два интересных письма — двух парторгов Михаила Федоровича Сараева с “Сибирякова” и Ивана Васильевича Садовнича с “Дежнева”.

Стал уже классическим снимок комиссара, поднимающего в атаку бойцов. Почему-то вспомнился именно

этот снимок, когда читал письма, пришедшие одно — из Ленинграда, другое — из Ставропольского края.

...Через час, как только стало известно на СКР-19 о тревожных радиосигналах с "Сибирякова", посовествовавшись с полковым комиссаром В. В. Бабинцевым (он участвовал в этом походе "Дежнева"), парторг Иван Садовничий собрал всех коммунистов и призвал их усилить бдительность, не пожалеть жизни в бою, если придется его принять.

Пришлось. Пали в нем смертью храбрых коммунисты А. Карагаев, Г. Майсюк.

...В самый разгар боя парторг "Сибирякова" Михаил Сараев обратил внимание, что противник усилил огонь по объекту радиосвязи: одним из первых снарядов сбил передающую антенну, нарушилась связь с Диксоном. Не раздумывая, Сараев срывает трансляционную антенну, соединяет ее с оборванной и поднимается по вантам к месту ее крепления. Во время подъема Сараева ранило в руку, тогда он схватил антенну зубами и, достигнув необходимой высоты, закрепил ее. В это время он почувствовал сильный удар в спину. Упал на палубу... Только через 29 дней хирурги извлекли из спины парторга осколок снаряда. Взвесили — 325 граммов!

В это время Анатолий Шершавин и Петр Гайдо передавали на Диксон необходимую информацию, известив Арктику о нападении фашистского крейсера...

### 6. Мирный дежневский десант

Накануне 40-летия Победы наша почта пополнилась еще одним интересным письмом. Его прислал бывший дежневец, а впоследствии контр-адмирал, руководитель совета ветеранов ледокольного парохода "Дежнев" Константин Иванович Степин. Еще раз на связь вышла Москва.

"В этом году, — писал Константин Иванович, — группа дежневцев, сибиряковцев и артиллеристов береговой батареи предполагает прибыть на Диксон. Пока в списке восемнадцать человек. Но полагаю, что их будет меньше. Годы и фронтовые раны дают о себе знать..."

Нашлись у Степина активные помощники: Иван Григорьевич Шнейдер, Юрий Сергеевич Гудин, Владимир Георгиевич Реданский. Сначала они встретились в Москве. Шнейдер приехал как будто случайно из Ленинграда, Гудин — из Архангельска. Писатель Реданский живет в Москве. К этому времени из Киева по телефону позвонил Леонид Александрович Кацман, из Харькова — Александр Павлович Алимов...

"Получился вроде "дежневский день", — заканчивает письмо Степин. — Многие обсудили, наметили... Дежневцы — замечательный народ! Боевой коллектив не распался и после войны, несмотря на различия в дальнейших судьбах, о которых коротко рассказать трудно.

Многие показали себя, и не только в морском деле. Но, видно, это отдельный разговор. Коротко об этом в книге И. Г. Шнейдера "Дежневцы". Она замечательная во всех отношениях, нужно бы ее переиздать большим тиражом или написать новую книгу..."

В канун 40-летия Победы Таймыр встречал дорогих гостей. За все послевоенные годы это был самый большой "десант ветеранов" — защитников арктических берегов Красноярского края. К названным уже Степиным товарищам присоединились С. А. Кротов, Ю. Б. Брен, И. П. Майоров, А. И. Подлесный, В. А. Прокофьев, К. А. Смирнов, А. А. Пахалкин, комсорг батареи Корнякова Степан Кузьмич Сергиенко, С. В. Быков, А. П. Шаларева (Иванова), А. Т. Павловский.

В эти дни они побывали в Норильске, который поразили их размахом строительства и стал неузнаваем. Не узнали они в современном городе деревянной, одноэтажной Дудинки военных лет, когда "Дежнев" прибыл сюда на восстановление. Дудинский морской порт с его кранами, стоящими у причала судами усиленного ледового класса, осуществляющими круглогодичную навигацию, нельзя было и сравнить с портом сороковых годов.

Радостной и волнующей была встреча ветеранов с Диксоном. 9 мая — торжественная манифестация у братской могилы дежневцев. Здесь же прошла переключка северо-морцев. Нынче здравствующие почтили светлую память тех, кто лежит в вечно мерзлой земле острова Диксон: Павла Ульянова, Василия Давыдова, Алексея Карагаева, Фахруллы Хайруллина, Василия Сулова, Аркадия Борисихина...

10 мая 1985 года состоялась еще одна незабываемая церемония — захоронение урны с прахом отважного командира батареи Николая Михайловича Корнякова, доставленной из Москвы его родственниками, сослуживцами, коллегами по работе. Корняков умер в канун праздника и перед смертью завещал захоронить свой прах в студеной арктической земле, которую он полил кровью, защищая в грозный час...

Мне довелось в эти дни побывать на встречах ветеранов с юными полярниками. Одно дело, когда они ведут поисковую работу, переписываются с незнакомыми "дядями", пополняют свой школьный музей новыми документами. И совсем другое дело, когда они видят этих людей наяву, убеленных сединой, с красивыми, мужественными лицами. Блеск их многочисленных наград приводит в трепет юные души, в которых прорастают семена будущей памяти. Воспитание историей проходит не по учебникам, не отвлеченными понятиями, а глаза в глаза с вершителями этой истории.

...Но уходят ветераны. Вернулось наше письмо из Эстонии, где в последние годы жил сибиряковец Иван Алексеевич Алексеев. Пометка на конверте была лаконичной: "Адресат умер..." В 1985 году, накануне Дня Победы, скончался дежневец Николай Емельянович Волчек в Красноярске. Вопросительный знак я поставил в списке напротив Николая Ивановича Крюкова. По известному мне адресу послан запрос, но ответа так и не последовало.

Во время отпуска я заехал на родину — в Горьковскую область. И конечно же, не мог не предпринять попытку найти Николая Ивановича. Я знал: он — художник. И это упрощало поиск: по городской справке в Горьком узнаю адрес областной организации Союза художников, который в знакомом городе найти тоже не представляло особого труда, — в центре, на площади Минина и Пожарского. Затаив дыхание, спрашиваю о Крюкове. Сотрудница, пожилая женщина, поторопилась успокоить меня:

— Жив ваш герой, позвоните по телефону 34-29-80 и договоритесь о встрече.

Позвонил. Договорились встретиться сейчас же. "Приезжайте, — сказал Крюков, — жена на работу ушла, дочь в Москве на сессии в Литинституте, а мы с внуком, моим тезкой, хозяйничаем вдвоем".

...И вот мы сидим в тихой квартире, беседуем о днях давно минувших и только что прошедших. Трудная и большая жизнь позади. Пожалуй, это я понимаю скорее не по рассказу, а глядя в его лицо с крупными резкими морщинами. Он вспоминает, как уже после войны работал над картиной неравного боя "Дежнева" с "Адмиралом Шеером" и как вновь переживал этот бой. Только теперь этот бой длился для него не восемь минут, а почти



пять мучительных месяцев. Картина сделана по заказу музея Арктики. Наверное, она и сейчас там...

Крюков рассказывал, как ему работалось в Вологде. И вот уже четверть века — в Нижнем Новгороде, Горьком. Перечисляет работы, отмеченные на республиканских и всесоюзных выставках — «Вологодские кружевницы», «Лесорубы», «Неру на Мамаевом кургане», «Доярка Орлова» (из Чувашии), «Мать Героя Советского Союза Николая Вилкова»...

— Жизнь идет к закату, что-то удалось, чего-то не успел. Вот разве что Коленька продолжит, — ласково гладит Николай Иванович внука, и тот прижимается к деду. — Надежды и на дочь Елену возлагаю. Она музыкант, с ансамблем выступала в Италии. Теперь вот в ней еще одно дарование проявилось — пишет стихи, и, говорят, неплохие, печатается в горьковских газетах, хорошая подборка была в «Новом мире», готовится к изданию первая книга стихов.

Вскоре из Горького с улицы Нижегородской пришла заказная бандероль от дочери Николая Ивановича Крюкова — Елены Николаевны. В ней письмо и несколько стихотворений, тут и триптих, посвященный отцу.

«Мы с папой читали вдвоем вашу газету, и он обещал сам написать о Качараве и его портрете. Хотя, если он будет медлить с ответом (а эту особенность я знаю — он очень долго собирается писать письма, а уж если напишет, так объективно, со всеми красочными подробностями), то я сама подробно спрошу его и прямо «по пунктам» — что, когда и как — вам отпишу (с папиных слов, выступлю в роли семейной стенографистки).

Этим летом отец отдыхал в саду на Волге — около Кстова. У нас там маленький сад и домик, который папа в шутку называет то «собачья будка», то «будка Ахматовой» (подразумевая ее дачу в Комарово). Он брал с собой туда маленькие холсты — писал Волгу, садовые цветы, небо, пристань, яблони, стариков — сторожей и бакеншиков. И мы с сыном там были почти весь июль, маленький Коля взрослеет и умнеет, капризы его исчезают, а дед сейчас учит его рисовать красками — гуашью и акварелью. Я так чувствую, что дед хочет, чтобы внук стал художником, взял у него из рук кисть и палитру... Поэтому сейчас, пока есть силы, он вкладывает в мальчика то, чему он посвятил всю свою жизнь.

...Когда я была в Ленинграде и стояла у парапета Невы, я словно переселилась в то время, когда отец был молодой, как я. И я даже почувствовала на миг, что он — это я. Вместе с ним стреляла в белого медведя на льдине, чтобы не дать команде умереть с голоду. Это я вела баржу с картошкой в голодный Ленинград. Это я видела северное сияние на острове Колгуев и писала портрет боцмана малярными красками самодельной кистью, сделанной из собственных остриженных волос.

Я знаю многое — даже не знанием, не по рассказам, а какой-то геной памятью, памятью крови».

Тем же летом у меня состоялась еще одна интересная встреча. В Батуми по известному адресу. Я разыскал жену прославленного капитана «Сибирякова» Анатолия Алексеевича Качаравы — Назо Яковлевну.

В просторной квартире я увидел большой портрет капитана, рядом — цветной снимок большого корабля, носящего его имя, и строгий барельеф ледокольного парохода «А. Сибиряков».

В Батуми я познакомился с Романом Ароновичем Голловским. Несколько лет он работал помощником Качаравы. И в его памяти еще свежи воспоминания об Анатолии Алексеевиче.

— Кто такой Качаравы? — переспрашивает Роман Аронович. — Сказать, что это был удивительно деятельный человек значит ничего не сказать об Анатолии Алексеевиче. Он быстро сходил с людьми, любил их, жил их заботами, и они отвечали ему тем же, — любовью и признанием. По возрасту он намного был старше меня, но я не успевал за ритмом его жизни. Он всегда вынашивал интересные идеи, обостренно чувствовал пульс времени. Думаю, эти качества помогли Качараве при создании и становлении грузинского морского пароходства, которое он быстро вывел в число лидеров всесоюзного соревнования. Человек после себя много добрых дел оставил»...

Что ж, все верно, такие люди достойны книг, кисти художника и внимания киносценаристов. Александр Молдавский написал сценарий художественного кинофильма «Вундерланд» («Страна чудес») — это кодовое название секретного рейда фашистского крейсера «Адмирал Шеер» в августе 1942 года в Советскую Арктику, чтобы здесь при поддержке подводных лодок и авиации уничтожить полярные станции и нанести прямой удар по караванам судов, идущим Северным морским путем с востока... Молдавского мы знаем по динамичному и захватывающему сценарию фильма «Командир счастливой «Шуки». Но подвиг «Сибирякова» пока не нашел достойного художественно-документального отображения в нашем отечественном кинематографе. С развалом Союза ухнули многие планы.

Поиск продолжается.

Вместо послесловия приведу еще два свидетельства.

Один из харьковских журналистов, рассказывая о дежневце Александре Павловиче Алимове, писал: «Скромный человек, он может много говорить о работе, о своих товарищах, о технологии производства, о жизни молодежи, критиковать работников клуба, но о своей жизни мало что от него услышишь. Если бы не передача по телевизору, в которой писатель Сергей Смирнов рассказал о сражении в годы Великой Отечественной войны «Сибирякова» и «Дежнева» с фашистским «Адмиралом Шеером», где была упомянута и фамилия Алимова, я так и не узнал бы интересной истории...»

— Дрались с немецким крейсером, — сказал Александр Павлович. — А что тут удивительного?

Добавим, что дрались они хорошо. Иначе бы не называли их наравне с челюскинцами и папанинцами гордо сибиряковцами и дежневцами.

В том бою Константин Иванович Степин командовал артиллеристами «Дежнева», дослужился до контр-адмирала. Вот что сказал этот заслуженный седой человек: «Тот бой был моим звездным часом. Ни последующие должности, ни последующие звания меня уже выше того не поднимали. Кем бы мы ни были, рядовыми ли, командирами — мы свой звездный час встретили у острова Диксон».

...Я мог бы больше рассказать тебе о Севере, но благодарен Диксону, — он первым разбудил во мне чувства, не принятые к оглашению на каждом перекрестке. Спасибо вам, дорогие мои старики — ветераны, названные и неназванные, здравствующие поныне и не дожившие до золотого юбилея великой Победы. Я знаю и помню вас! Спасибо вам за эту негромкую мою песню. Каждый может ее продолжить на свой мотив и лад. Благо, не надо занимать в чужом языке, богата русская речь... Только не останавливайся на полпути к победителю, найди обязательно его, оглянись вокруг, не рядом ли с тобой живет этот скромный герой войны, поторопись сказать ему заветные слова. Поспеш, завтра может быть поздно.

## Юрий ГРАДИНАРОВ

*Родился в Донбассе. На Таймыре с 1961 года.*

*Печатался в коллективных сборниках.*

*Автор книг рассказов "Шаман Демнине", "Аргиш в Париж". Живет в Дудинке.*

### ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Над Дунаем повис туман. Осенняя прохлада неожиданно пришла с Севера, резко остудила воздух и коснулась мутной дунайской волны, отчего та выдохнула накопившееся за лето тепло и укрылась, словно одеялом, слоем клубящегося пара, прячась от начинающейся стужи.

В размыто желтеющих в тумане камышах таинственных плавней не стал слышен веселый беззаботный говор гусей и уток, попавших в эту белесую пелену. Но оцепенение птиц быстро прошло, и они снова начали робкую слепую переключку, то на время замолкая, то возобновляя какофонию тревожных криков.

Стоящей на берегу Любочке казалось, что птицы ищут друг друга в этом надводном облаке, ломая крыльями сухой камыш, ранят себя острой осокой, увязая в темно-зеленой густой тине с родинками светло-желтой ряски. С реки тянуло запахом болота и влажного сена. "Чем-то реку Оскол напоминает по осени, — подумала она. — Только болото тут смердит навозом".

Она поправила рукой влажные от изморози волосы и вздрогнула от мысли о предстоящем отъезде. "Птицы собираются на юг, а я на север, — вздохнула она. — Только птицам лететь вслед за теплом, а мне снова бежать от позора".

Любочка глядела в поднимающуюся перед ней качающуюся стену тумана и по крупницам перебирала свою жизнь, ворошила в памяти то, что уже давно слежалось, омертвело и только причиняло боль при воспоминаниях. Вспомнила то, что пережила и прочувствовала сама, что рассказывал ей муж Николай Васильевич и что ей подсказывала женская интуиция

...Уже шестое место меняют за десять лет семейных неурядиц. Словно цыгане, колесят с места на место, не обрстая ни скарбом, ни друзьями и не привязываясь накрепко душой к новым, уготованным судьбой, городкам и селам. Деток успели двоих заиметь, а счастье в семью так и не вошло.

Пьет ее муж скверно, не зная ни места, ни времени, ни меры, ни бремени. Проваливается в бессовестность, нажирается до поросычьего визга, а иногда и до белой горячки. Не держат его долго на работе — проку нет от таких алкашей, а каково же ей дома: все стерпеть, все сносить и не сказать ни слова против, а иначе будешь бита. А еще можешь быть битой, если промолчишь, если перестанешь замечать все его пьяные каверзы.

А годы идут и что будет дальше при таком муже, она представляла. Ее нередко бросало в дрожь, било в каком-то судорожном ознобе, от того, что не будет у нее счастья с Васильевичем, что он ее низведет к нулю и сделает старухой в тридцать лет, навсегда погасив в душе желание жить. А дети? Что будет с ними в этой семейной круго-

верти, когда не всегда куска хлеба хватает, когда от горести у нее для детей не находится добрых слов, когда их глаза наполняются страхом при появлении пьяного отца?

Только вчера проводила она на поезд Васильича с детьми к своей матери, а сама осталась передать клуб новым специалистам. Только год смогли продержаться в этом селе на берегу Дуная. Запил ее мужик, как всегда, после двух месяцев трезвой работы. Потом снова было просветление, потом опять мрак в душе и увольнение его за пьянство по позорной статье, после которой опасаются брать на работу. Отправила она его поскорей к матери, чтобы не болтался здесь по подворьям и не просил угостить вином, которого в каждом дворе было хоть отбавляй.

Отправила, а переживаний не убавилось. Боялась, чтобы не запил в дороге да не потерял детей. Да только ли об этом переживала? Куда теперь путь держать? Может в Старый Оскол или к сестре в Сибирь? А может на свою родину в Гжатск? Мучилась, а решения не находила. И опять ворошила свою прожитую жизнь...

Ведь совсем, казалось, недавно она беззаботно порхала в хореографическом классе, легко проделывая батманы и плие, пока в училище не появился концертмейстер Николай Васильевич. Аккуратный до чопорности, с колочим взглядом, он глазами ел стройные ножки и аккуратно подтянутые попки девочек-хореографинь, вдыхал дурманящий аромат свежего пота работающих у станка студенток и в душе начинал фантазировать, вызывая у себя неведомое ранее буйство чувств к тонким линиям девичьих тел. Он только в перерыве приходил в себя, остывая от клочотавшего внутри вулкана, и мысленно обмасливал лишь одну, невысокую, с тонкой талией и вздыбленной попкой, курносенькую Любочку Заречневу.

Понравилась она ему сразу, когда он впервые пришел в балетный класс. Чем понравилась, он не мог объяснить и сам себе. Лицом она не вышла, ростом тоже, вот только озорные ее глаза задевали его своей веселостью и необычной для этого возраста смелостью. Но Николай Васильевич уже знал, что это у красивых все на виду, а у таких, как Любочка, все внутри, красота вся там, в душе, и ее раскрыть надо.

Николай Васильевич — тоже не грендер: роста среднего, худощавый, чуть суетлив в походке, в глазах — колочки, жесткостью от характера веет. Словом, мужик как мужик. Но когда брал в руки баян, то вроде становился и ростом выше, и глазами теплее, и лицом красивее. Недаром студентки, кому за двадцать, влюблялись в него и тайно, и явно. Одна даже уксусом травилась из-за своей несчастной влюбленности, оставшейся без ответа со стороны Николая Васильевича. Слух об этом прокатился по училищу, придав славу неотразимости Николая Васильевича.

Для него армия была уже позади и он, видя, что выбор невест большой, стал все чаще и чаще возвращаться к мысли о женитьбе, возникшей еще на службе, где его с баяном затащали "прапора" по вечеринкам. То дни рождения жен, то новоселье, то рождение первенца. Все надо обмыть, всех надо поздравить да заодно и попеть от души.

И он нет-нет да и завидовал сверхсрочникам, своим ровесникам, успевшим и "срочную" отслужить и женами обзавестись, и свой угол заиметь. Тянуло его к семейному уюту и душой, и желанием определиться в жизни, найти себя в этой реальной ее непознанности. Ему давно



уже опостытели воспитатели в детдоме и в армии, и сумасбродные бесправные общежития, где ты подчинен общим законам, и где твое собственное "Я" сведено к нулю. Будь как все, подчиняйся навязанной нивелировке и не выпячивайся ни умом, ни способностями, ни талантом.

Что такое семейная жизнь, он толком и не знал, но замечал, что домашние дела у "прапоров" волокут жены, и, имея хорошую хозяйку, можно жить припеваючи, быть сытым, обстиранным и иметь лишний рубль в "загашнике". Тянуло его к семейному уюту еще оттого, что он за свои двадцать три года ни разу и не жил в семье. В голодные годы его, трехлетнего, сдала мать в детдом, где он пробыл почти тринадцать лет. Она его не навещала, давала время и себе и Николаю свыкнуться с мыслью, что в этом мире каждый сам по себе. А он, подрастая, стал внутренне чувствовать что-то неладное, поскольку родился после войны, и кто-то же должен быть на белом свете, его зачавший. Видно мужское естество подсказало, что надо искать мать. Благо, бумаги где-то еще сохранились, и он разыскал свою схоронившуюся мать. Разыскал больше из-за себялюбия, хотел доказать, что он не сирота, что он не подкидыш. Написал ей письмо, и когда они встретились, то ему, смышленому мальчугану, показалось, что чужие люди после многих лет разлуки встречаются теплее, радостней и печальней. В ее глазах Колька не увидел ничего материнского, что он рисовал в своем воображении, что он видел при встречах нашедших друг друга людей. Да и сам он не почувствовал сыновней тяги к ней. Как бы там ни было, но мать его не забрала домой, пообещав иногда навещать.

Он разуверился теперь в своей надежде, которой жил многие годы, стал нервным, злым и замкнутым. Занимаясь баяном в музыкальной школе, Колька лишь ему, как живому, доверял свои беды и радости. В часы душевного неюта он закрывался в ленкомнате и выжимал из баяна все, на что был способен. Музыка расслабляла его, чуть успокаивала, но не лечила, а медленно наполняла раненую душу, уводя его в другой ирреальный мир, где все было благосклонней, душевней, романтичней и размытей, чем в настоящей жизни. И главное, что там не находили места одиночество, ненужность и вот та сиротскость, которая довлела над ним в детском доме.

А матери все годы было не до него. Она частила с выходами замуж, надеялась, что на нее, одинокую, быстрее клонут мужчины. Клевать-то клевали, особенно городские, то на ночь, то на месяц, то на полгода, а настоящего улова так и не было. Хотя и изба у нее была, и должность фельдшерская, а судьба так и не повернулась к ней лицом. Уж слишком выпирала из нее жестокость, а мужики от жестоких уходят. Да и грех большой она имела, сдав Кольку в детдом.

За свою жизнь в детдоме он привык, что за него кто-то думал, кто-то делал, а он поглощал, как всяческое животное, все, что ему предлагали наставники, не задумываясь о том, что "сиротский коммунизм" закончится и ему придется самому окунуться в неведомый для него мир.

Когда он покинул детдом и поступил в музучилище, то оказался один на один с непознанной им жизнью, которую сам должен вновь создавать, заботясь не только о хлебе насущном, но и о стирке носков. Он растерялся, чуть было не бросил училище, и все его манеры, привитые строгими порядками "казенного дома", раствори-

лись, размылись мутным потоком новой для него жизни. Он начал пить, просаживая за раз почти половину стипендии, потом лихорадочно метался между детским садом и кондитерской фабрикой, подрабатывая на утренниках и на погрузке продуктов. Но чаще всего иждивенничал у своих сокурсников, с которыми жил в общежитии.

Николай не был заводилой в компании, но всегда с нетерпением ждал выходного, когда ребята устраивали "междусобойчик". Он старался быть на разливе, чтобы хоть на глоток больше урвать себе вина. Да и "сбрасывался" он редко, сетуя на то, что он единственный в комнате сирота и стипендии хватает лишь на столовую да на курево. Ребята сочувствовали ему, покрывали его долю, потрафляя его жадности, хоть мать нет-нет да и присылала ему переводы. Он получал двадцатипятки, прятал на "черный день" и, когда ребята уезжали на каникулы, в одиночку пил вино, закрывшись в комнате.

Правда, занятия в музучилище не пропускал, корпел над нотами, гонял гаммы, виртуозно бегая пальцами по клавиатуре. Госэкзамены сдал на "хорошо" и на выпускной пришел навеселе. Директор, вручая диплом, шепнул Николаю: "Смотри, Васильич, рискуешь. Водку победить трудно". Николай улыбнулся в ответ, задержав на миг во рту запах перегара, небрежно сунул диплом в карман пиджака, благодарно поклонился президиуму и ушел в курилку, где его ждала недопитая и спрятанная в бачке унитаза бутылка водки.

Направление он получил в культпросветучилище, расположенное в двух кварталах от музыкального. Получил как лучший концертмейстер выпуска и был определен на отделение хореографии. Но через три месяца, в осенний призыв, он ушел в армию. Отпахал в муззвезде три года и вернулся снова на прежнее место работы...

Так вот Любочка Заречнева для Васильича была вожделенной девушкой, нецелованной, и еще не сыгранной им нотой. Как она "звучит", эта маленькая хохотушка, он не знал, но хотел ее слушать и слушать.

Закрутить с ней любовь по-взрослому он побаивался. Побаивался возможных воспитательных разборок, педсоветов, закрытых комсомольских собраний, после которых он мог вылететь из училища не за милую душу, а из-за "запретной" любви. Поэтому он повздыхал, пооблизывался, глядя на нее, как кот на канарейку в клетке, и решил про себя Любочку не трогать до лучших времен. А сам облюбовал угасающую одиночку Викторю Дмитриевну, преподававшую режиссуру, женщину эмоциональную, нервную и порывистую. Она встречала Николая, как встречают мужчин одинокие женщины: уютом в квартире, сытным ужином и какой-то тихой приглушенной радостью в недавно еще унылом сердце. Николай же, обласканный вниманием, выпивал водочки и, разогревшись, в радостном порыве отдавал себя в объятия сорокалетней женщины, а утром, в училище въедливо смотрел на юную студентку. И ночью, лежа со своей Викторией, он представлял все же рядом с собой эту шестнадцатилетнюю малышку, забывая напрочь о хозяйке, надо-едливо пахнувшей нерастраченным сексуальным потом.

Любочка поначалу принимала его легкий флирт за шутку, адресованные ей подмигивания — за желание ее подбодрить, разговоры ни о чем на переменах — за попытку увести ее от скуки. Но когда он стал чаще и чаще приглашать в кино на последний ряд, целовать в полумраке в губы, щеки и шею, а руками будто невзначай, ка-

саться круглых коленок, то она, с опаской идя в зал, уже заранее вздрагивала от предстоящих ощущений и в преддверии темноты отводила его руки на подлокотники, мысленно задаваясь вопросом: то ли это нахальство, то ли это бесстыдство, то ли так мужчины проявляют свои симпатии к женщине? Это был первый парень, с которым она начала дружить. Он старше ее на семь лет, музыкант, начитанный и остер на язык, и вообще он для нее самый, самый... У нее просто не было эталона для сравнения. Ей льстило, что из двадцати пяти девочек группы он выбрал ее, и она даже ощущала зависть некоторых своих подруг.

— Везет же тебе, Любочка, — льстили они. — Такого мужика отхватила! Теперь тебе и зачеты, и экзамены — раз плюнуть. Васильич поможет. Не упускай — мужик, что надо.

И Любочка верила им, таким же неопытным и глупым.

Фильмов они почти не видели, упоенные таинственным чувством почти телесной близости друг к другу. Она нет-нет, да и выходила из этого сладостного оцепенения, вертела головой в полутемном зале, боясь, что кто-то подсматривает за ними.

На зимних каникулах Николай повез ее к матери на смотрины. Любочка начала переживать еще в поезде, спрашивала у него подробности о матери, доставала из сумки платок, примеряла на себя, крутилась перед зеркалом и надоедала с вопросом:

— Ну как? Ничего! Понравится ей платок?

— Понравится. Пусть этому будет рада, — отвечал ей нехотя Николай. — От нее-то не очень дожделешься подарка. Увидишь...

Когда Любочка робко вошла в избу и впервые увидела его мать, то ее поразили большие зеленые глаза, неприветливые и по-лягушачьи выкатывавшиеся из орбит. Любочка, хоть была и неробкого десятка, ощутила в груди холодок страха. И даже присутствие Николая не придавало ей смелости. Его словно не стало рядом, а перед ней блуждали два ошупывающих ее со всех сторон зеленых луча. Эти лучи решали ее судьбу: быть или не быть ей желанной невесткой в просторной, но мрачноватой избе. Потом владелица лучей, шаркая комнатными тапочками, неохотно засуетилась, доставая из печи чугунок со щами, затем демонстративно надела очки и, собирая на стол, как бы ненароком поглядывала на девушку. И вдруг, по-ивановски окая, без обиняков, сказала:

— Николка, а что это ты такую неказистую-то невесту нашел? Без очков-то и не разглядеть толком. Совсем тщедушная. Она и детей-то не сможет рожать, не то что воспитывать...

Мать обращалась к сыну, а глядела в тускнеющие от выкатившихся слез Любочкины глаза, пытаясь подавить ее колючими зелеными лучами. Она, используя свое право выбора, как хищная птица кружилась над сникнувшей Любочкой и добивала девочку словами, как клювом:

— Надо будет, Николка, мы тебе здесь найдем невесту... И красивую, и домовитую, и статью нашенькую..."

Любочке кусок не лез в горло, а Николай, хлебнув самогона, нелепо моргал глазами, словно переваривая сказанное матерью, и бормотал имена деревенских невест, которых видел, приезжая на побывку к матери.

Деревня с войны считалась женской. Оставшаяся в живых дюжина-вторая мужиков не справлялась с потребой баб. Да и через двадцать лет после войны приплоду

мужиков было мало, и их по-прежнему не хватало в деревне. Поэтому они здесь были нарасхват, всегда в почете и в уважении у женщин. Вот и хотела Мария Прибыткова, мать Николая, осчастливить своим сыном ту или иную деревенскую молодку. Да видно не судьба ей радости людям дарить.

Люба тогда еще не знала, насколько мать Николая ощущает его сыном, а он ее — матерью. Уже позже, изредка приезжая к ней, она замечала, что их отношения заложены на терпении друг к другу. То бишь, коль он нашелся, стало быть он должен иногда навещать мать, а коль ты назвалась матерью, то худо-бедно должна его встречать, слезу радости пустить на людях да немного откормить на деревенских харчах. И сделать все так, чтобы комар носа не подточил, чтобы в отношениях ничего худого не мог заметить вездливый соседский глаз. А не то попадешь на язык деревенским лепетухам — и пойдут кости перемывать, мачехой почем зря обзывать. Сама Мария лицемерить не умела, всегда резала правду-матку в глаза, резала по-садицки, с улыбкой на лице, жестоко и больно для жертвы.

Ее считали в деревне неуживчивой, но в глаза не говорили — боялись. Потому что каждый ощущал себя потенциальным больным и не сегодня-завтра мог оказаться на приеме у фельдшерицы. А та потом все припомнит, даст понять, кто важнее в деревне: кузнец, продавец или фельдшер. И сидит больной, не смея проронить ни слова в свою защиту, боится, что лечить не станет. Были такие случаи, когда проштрафившиеся перед ней попадали в медпункт. Лечить лечила, но измывалась вволю. Поэтому люди ненавидели ее молча за колкости, не давая ей понять, что она кому-то неприятна. За глаза вся деревня звала ее кукушкой из-за Кольки, отданного в детдом.

Вот с таким характером, добивающимся душевного слома, полного подчинения и бессловесности, встретила Любочка. Так и сяк пыталась приноровиться к Колькиной матери, но все попытки разбивались о ее твердокаменность, нежелание понять эту ничего еще не видевшую в жизни девочку. Любочка не старалась угождать, понравиться ей или выказывать свою любовь к ее сыну, но убирала в квартире, готовила обед, вязала свекрови теплые носки. А та, придя с работы, ходила по комнате и ворчала, что плохо заправлены кровати, что половики расстелены по другому рисунку, что щи не наваристые из-за того, что не доварила мясо. И пошло — поехало.

Любочка не вступала в пререкания, садилась к окошку и вязала, успокаивая и сдерживая себя от слез. "У Николая тоже есть от ее характера. Только он сдержанней намного. А лет через десять — пятнадцать и он, наверное, будет таким, как мать, — прогнозировала она свое будущее. — Попробуй, уживись с таким... А может обломается, помудреет да и характер пойдет к лучшему..."

А Николай, снова хлебнув самогона, подсаживался к ней и шептал на ухо, чтобы не слышала мать.

— Да не расстраивайся, Любок! Мне жить с тобой, а не ей. Поговорит и успокоится.

— Эх, Коля! Ты залил глаза водкой — вот тебе и кажется все в розовом свете. Это же домострой, крепостничество... Ты же видишь, что она ценит только себя и свое мнение. Она же эгоистка до мозга костей... Да и ты с того же теста сделан... Подожди... Будет такой момент, что она и тебя выгонит из этой избы... Попомнишь мое слово... Не ко двору я здесь, а ведь я люблю тебя...



Николай ошалело моргал маленькими осоловелыми глазами, впервые слыша взрослые речи юной студентки. Он даже чуть отрезвел от этих слов и ощутил себя зависимым не от матери, а от этой маленькой женщины. Он сообразил, что его судьбу будет решать сейчас Любочка, а не мать. “Как решишь, так и будет”, — умоляюще прошептал, глядя в ее налитые слезами глаза. А Любочка сквозь его хмельную поволоку в глазах увидела застывшую мольбу: “Не оставляй меня. Я без тебя уже не смогу”. Он почувствовал вдруг, что в мире нет человека, кто любил бы его. Он сидел перед ней не шевелясь, боясь нарушить лихорадочный ход ее мыслей. Все мужское, сильное, что привлекало Любочку к нему, вмиг было потеряно, словно улетучилось из его стати.

— Какой ты жалкий, Николай! Ты как хамелеон, напустил на себя беспомощность, пытаешься вызвать жалость у меня. Так вот, мне жаль тебя, понял? Я остаюсь с тобой, что бы ни вытворяла мать. Я потерплю, а там посмотрим — чья возьмет.

Николай всегда помнил, что женщины, с которыми сводила судьба, бросали его первыми. Бросали из-за запоев и пьяной агрессивности. Любочка же или по своей молодости, или из-за захватившего ее порыва любви не стала или не пожелала замечать растущую беду. Да и Николай здесь хитрил, не позволял себе в полной мере пьяную раскрутку в присутствии Любочки. Он боялся, что она, разобравшись что к чему, поступит, как поступали с ним другие женщины.

... Когда его образ начинал тускнеть в ее глазах, и мысли “как быть дальше” не давали покоя ни днем, ни ночью, она их пыталась отгонять, сравнивать жизнь своей матери с выпивающим отцом, пыталась воспринимать Николая таким, каким увидела его впервые, каким он вошел в ее сердце.

Они приезжали к матери еще не раз, гостевали, спали на разных кроватях, а мать уже не проявляла никакого интереса к Любочке, считая, что смотрины не состоялись и не надо дальше морочить друг другу голову.

А Николай в мыслях и наяву не оставлял Любочку. В деревне нет-нет и спрашивали, ни невестка ли у Марии приехала, чай, свадьбы-то не было, а приезжают с Колькой вместе. Мария отмахивалась от вопросов, как от назойливых мух, а иногда, сдавшись в душе, отвечала: “Пусть Колька решает, ему жить!”

В училище весь курс знал об их любви, а девчонки ее группы уже собирались гульнуть на свадьбе. Завуч Иван Максимович предупреждал Николая, шутя:

— Смотри, Васильич, не согреши раньше с Заречной, хотя она, видно, вся уже извелась... А то потом хватим лиха и ты, и я... Прогремим на всю губернию. Вон твои коллеги в простое... Выбирай любую на время, а студентку не трожь.

Нередко, придя в дом, где он квартировал, тяпнув в одиночку стаканчик водки, ложился отдыхать, медленно курил в темноте и думал о том дне, когда будет иметь свой угол, жену Любочку, телевизор, ковер на стене, а может и двуспальный диван. Придет домой, остограмится, хорошо закусит, голову кинет на подушку, будет в сладкой истоме подремывать, а Любочка смотреть фильмы про любовь! Отдохнет хозяин, проснется среди ночи, локтем под бок — стук жену! Условный знак сам придумал. А она полусонная, удобно раскинется на кровати, сладко улыбнется в полумраке и уже готова улаживать его

похоть. Не жизнь, а мечта маячила в воображении бывшего детдомовца.

Осадок от встреч с будущей свекровью у Любочки остался на всю жизнь, хотя она и не была злопамятной. Обида на мать Николая сильно ранила ее сердце, и она позже поняла, что он так же жесток, как и его родительница.

Много выпало Любочке потом бед. Хлебнула всякой дряни по самые уши, и вся она прошла через ее больное сердце. Одних абортот делала штук одиннадцать! Без жалости топтал ее муж, не спрашивая ни о желании, ни о здоровье, ни о не уснувших детях. Вынь да положи — ему сейчас хочется. Особенно горячился он по пьяной лавочке! Моложе был — удавалось ему душу отвести, а после тридцати — водка гасила его мужскую силу, и пьяные старания ни к чему не приводили. Он злился, обзывал Любочку “бревном”, а нередко в раздражении бил ее по заднице до синяков. Терпела все. Сносила все унижения со слезами и без слез и думала: “Ну зачем мне такая мука? Неужели я должна всю жизнь нести этот тяжкий крест: кормить, лечить, обстирывать его, стыдиться, не получая взамен хотя бы человеческого отношения к себе?” А потом прерывала горестные мысли, задавала сама себе вопрос и тут же отвечала: “Боже мой! О какой любви я мечтаю, чего я жду, когда он в пьяном угаре теряет человеческое обличье. Ночью бродит по квартире, как привидение, не выпуская “Беломор” изо рта, глотает из горла оставшуюся водку, потом пьет в туалете стеклоочиститель, громко извергает из кишечника тяжелый густой запах, мочится в штаны, не ощущая позыва”.

И снова не любовь, а страх заставляет ее дрожать, когда у Николая “едет крыша” и ему мерещатся и милиция, и врачи из ЛТП, и черти: рогатые, клькастые, с перекошенными от злорадства рожками. И начинает он прятаться от них в ванной, на кухне под столом или на балконе в парусе сохнувшего постельного. Бросает в Любочку все, что попадает под руку, — отбивается от своих устрашителей. Сколько раз пытался прыгнуть с балкона. Каким-то невероятным усилием Любочка сдерживала его, обезумевшего, от верной смерти. Сдерживала, получая зуботычины, ощущая железные тиски его пальцев на своем горле и десятки ударов в грудь, в живот. Не раз в борьбе именно она оказывалась над бездной седьмого этажа, и только чудо спасало их обоих от уготованного им полета с балкона в смерть под страхом смерти.

Все это было позже, а после очередных каникул, вернувшись в училище, они сыграли скромную студенческую свадьбу, сняли комнату у одинокой старушки да и стали клеить свою семейную жизнь, вопреки Колькиной матери и страшным сомнениям Любочки.

На последнем курсе у них появился сын, большеголовый худенький Антон, недоношенный до полного срока. Ее держали в роддоме почти два месяца. Давление зашкаливало за двести, и врачи боялись за благополучный исход родов. Его сбили лишь чуть-чуть. Роды шли тяжело, врачи предупреждали, что такого напряжения не выдержит ее больное сердце и предлагали “кесарево сечение”. Люба отказалась от “кесарева” и решила на роды, дав расписку.

Николай, оставшись один дома, редко навещал Любочку в больнице. Приходил под хмельком, приносил нехитрую снедь, глядел с куражом на покачивающуюся походку жены и никогда не спрашивал, как ее здоровье. Он знал, что женщины рожают все, значит и Любочка осн-

лит это дело. Правда, кровь он сдал, не выпивая перед этим трое суток, а после, накачав жажду, стал пить каждый день, благо некому было его останавливать. А когда родился Антон, то он не появился ни в первый, ни во второй день, обильно обмывая сына вслепую, даже не увидев его.

Любочка же, выйдя из больницы, вскоре ощутила необходимость сына для Николая. Она надеялась, что ребенок увлечет мужа, уведет его от ежедневных выпивок и семейных скандалов. Как оказалось, она родила сына для себя, рискуя своей, ошипанной со всех сторон, жизнью. Отец принял своего сына почти так, как его когда-то приняла мать. Вот здесь Любочка заметила еще один изъян в характере и естестве Николая: он так и не понял, что такое семья, и свою роль как главы семейства. Он по-прежнему пил, издевался над женой, а угробив водкой почки, нередко во сне ссал на диван, оставляя на матрасе желтоватые, несмываемые пятна. Во дворе на веревке вместе с пеленками Антона сушились простыни, устрепанные его папой.

Любочка терпеливо сносила и пьяную брань, и побои, и мужнину вонь. Другая бы и милицией припугнула, а нет — дак суток на пятнадцать бы пристроила его или разводом отрезвила. Но она все терпела, выполняя заложенный в мозгах завет "Да убьется жена мужа...". Откуда он ей запал в голову, она не помнила, но выполняла его свято, поддерживая всеми фибрами души непогрешимость своего повелителя, там, за пределами семьи, где он слыл порядочным, рассудительным человеком и прекрасным музыкантом, хотя на работе уже замечали и терпели выверты Николая Васильевича.

Любочка начала полнеть, отдав себя в руки сердечной болезни, семейным заботам и вечному ожиданию пьяного мужа. Она ощутила, как из ее характера выветривается отцовская смелость, мальчишеское озорничанье и еще выпестованная в душе, но не появившаяся наяву радость семейной жизни, когда нелегкие женские заботы укутываются вниманием и любовью мужа и кажутся невесомыми от нахлынувшего счастья. "Терпеть надо, терпеть, — внушает она себе. — Еще может год-два, и образумится мужик. Многие из моей родни через это прошли, а сейчас остепенелись. Как будто и не пили в молодости... Да и я покрепче стану, как женщина. И заживем как все — не хуже и не лучше других, а одинаково".

А тут новая беда появилась. Кончилось терпение у директора училища к Колькиным выходкам. Руки дрожали с похмелья, а пальцы не находили на баяне нужные кнопки. Благо, завуч, уехавший год назад в Брянск, написал Николаю письмо и позвал его на работу с условием, что тот станет меньше пить. Любе не хотелось уезжать из этого тихого городка, где и работа ее устраивала, и воспитатели в садике любили Антона, и к отцу с матерью было рукой подать.

Директор Дома культуры, где она руководила танцевальным коллективом, зная ее беду, без желания подписала ей трудовую книжку и, чисто по-женски сочувствуя, сказала:

— Срываешься, Любочка, с места, а будет ли прок — никто не знает. Ох и хватанешь ты со своим Колькой лиха! Подумай, пока не поздно!

Любочка не ожидала такого доброго участия от своей внешне строгой директрисы, а та, словно что-то вспомнив, добавила:

— Все мы женщины одинаковы. Все мы привязываемся к мужчинам сильнее, чем они к нам. Но чаще мы первыми и оставляем их, и редко потом жалеем о содеянном. Мы в этом вопросе мужественнее их. Я прошла через это, жаль, что поздно хватилась.

И она, достав платочек, вытирала мокрые от слез глаза.

Люба, растроганная горьким признанием, прижималась к ее груди и громко всхлипывала, не стесняясь своего плача.

Уехали уже втроем обживать новое место. Комнату получили в деревянной двухэтажке большую, без перегородок, которая стала и спальней, и столовой, и прачечной. Любочкины родители нередко наезжали в гости, смотрели, что да как, в душе жалели свою средненькую, а помочь чем-либо, кроме доброго совета да нескольких рублей, не могли. Она первой вышла замуж, опередив старшую дочь, и они как бы присматривались к ее несладывающейся жизни, чтобы хоть как-то надоумить в этом деле оставшихся двух дочерей. Надоумить словами, своим опытом, чтобы не вляпались они, как средняя, в несладкую семейную жизнь, чтобы хоть мужей-то нашли трезвенников. Пусть даже не трезвенников (где их теперь найдешь?), но хоть с доброй душой, понимающей, где правда, а где кривда.

Отец у Любочки — сам не дурак выпить. Войну прошел шофером, осколков наловил телом уйму, не одну контузию перенес, да и в списки на мемориале в Кемерове попал, как погибший. А за лихость даже в штрафбате побывал! Но все пересилил, все пережил, хотя здоровым после войны так и не стал. Инвалидом считался, но по госпиталям, да по санаториям, как иные здоровенькие, не шастал, орденами и медалями для важности не звенел. Правда, в праздники, бывало, по всей улице был слышен звон его подвесок, когда он в подпигии возвращался домой после очередных тостов за Победу.

В последние годы он работал вулканизаторщиком, подсоблял шоферам в беде. Заклеит Семеньч прокол в камере — магарыч сам в стаканчик просится. Тяпнут они с бедолагой-шофером по сто пятьдесят грамм, хлебушком занюхают и беседуют, смачно затягиваясь "Севером", а то и махрячком. У одного уже день пропал — некуда торопиться, а у Семеньча работа такая. Только разговор пошел о том, о сем, а уже подъезжает следующий горемыка — поймал гвоздь на асфальте. Снова через полчаса — магарыч. Но ум Семеньч не пропивал, только матерился вычурно, по-армейски, в таких выражениях, что не каждый и слыхивал. Правда, матерился без злости, больше для связки слов. Сам весь цыганистый, с лукавым взглядом синих глаз, разухабистый и чуть-чуть щеголеватый. Тут уж мух не лови! Такое выдаст словечко или шутку-прибаутку в твой адрес, что краской покроешься от растерянности или от смущения, но не обидишься на него, потому что во всех его колкостях доброта сидит. А в праздники хромачи блестят да поскрипывают, ноги на "Цыганочку" просят! Не раз цыгане его за своего принимали, в кочевье звали. Да видно вволю накочевался старый шофер со своей фронтовой подругой Анной, потому и к цыганам не пристал. Но что-то цыганское было у него в крови — любил менять города и села. Только шесть домов самолично срубил за свою жизнь, шесть бань построил в каждом дворе, шесть колодцев выкопал в каждом огороде. И все было добротное, на многолетье рассчитанное.



И вот такой разудалый мужик — отец Любочки — и тот не смог вынести привередье своего зятя Николая. А в один из приездов, увидев Любочкины руки в синяках, не смог удержать слез.

— Постой, твою мать... Я сегодня с ним потолкую, как махать руками, — предупредил он дочь.

А она, задрожав всем телом, закричала, заплакала в истерике:

— Папа, дорогой, не связывайся... Ты его не переделаешь, а он во хмелю дурной.

Семеныч посмотрел на дочь, стукнул рукой по столу и сказал:

— Успокойся, но пока я живой, никому не позволю издеваться над тобой... Я ему рога обломаю...

Вечером Николай пришел с работы, как всегда под хмельком. Он протянул отцу руку, но тот схватил его за грудки и, не дав снять пальто, крепко встряхнул, да так, что у Николая шапка слетела с головы. Николай не ожидал такого поворота дел и хотел оттолкнуть отца, но тот, задыхаясь от злости, крепко прижал руками зятя к стене и закричал:

— Ты... ты, фашист проклятый!.. Ты что делаешь с девчонкой, изверг ты хренов!

Потом, отпустив руки, добавил:

— Запомни... еще раз махнешь рукой — голову отрублю. Понял?

Николай стоял ни живой, ни мертвый. Хмель словно рукой сняло, а страх гнал капли пота по сморщенному лбу. Он укоризненно посмотрел на Любочку, спрашивая глазами, мол, зачем ты рассказала все отцу. Николай еще никогда не видел таким разъяренным тестя и не знал, что предпринять: то ли извиниться, то ли продолжать скандал.

— Все уловил? — зло спросил его Семеныч. — Еще один синяк увижу — духу твоего тут не будет.

Только теперь зять сообразил, что тесть имеет в виду.

Отец закурил и вышел во двор, давая время переговорить молодым по душам. Войдя в комнату, он понял, что разговор между ними не получился. Люба сидела с Антоном на руках, а Николай, отвернувшись от них, смотрел в окно.

— Коль вы не понимаете друг друга, собирайся, Любаша, поедем домой. Пусть кулаки чешет о других, пока ему голову не свернут. А внука мы вырастим и без этого заранца, — в запальчивости сказал отец.

Теперь Любочка металась между двух мужчин, все чаще и чаще обращаясь взглядом к Николаю. А он стоял безмолвный, ошарашенный отъездом Любочки с сыном, и ничего не мог предпринять. Он даже чемодан не помог ей собрать, видимо соображая, сон это или явь и правда ли, что его любящая, безропотная жена собирается от него уехать. Они уезжали, несмотря на надвигающуюся ночь. Автобусом добрались до станции и в полночь сели в поезд, благо удостоверение участника войны помогло взять билеты в мягкий вагон.

... Через полгода Николай появился в Новом Осколе, худой, небритый, постаревший, с детдомовским чемоданчиком. Уже успела исчезнуть куда-то его аккуратность, опрятный вид и колючесть в глазах. Короче, он явился к Любочке, как побитый пес возвращается к своему хозяину. Она встретила его у порога, какого-то сморщенного и вытирающего бегущие по щекам слезы. Его уволили с работы, выселили из квартиры, и он месяц маялся у матери в деревне. Спустил на водку свои расчетные деньги,

немного подшиб у матери, а дальше — ни денег, ни работы. Мать каждый день упрекала его за то, что ослушался ее и женился на ком попало, во всех бедах винила за глаза Любочку, а Колькину пьянку не замечала, пока в доме не осталось ни копейки. Вот тут она взбеленилась, обозвала его пропойцей и стала оправдывать себя, что не зря его спихнула в детский дом, а то бы, как его покойный отец, не просыхал бы от водки, пока не “кинул кони”. И ей бы душу травил. О внуке Антоне она даже и не вспоминала. У нее, видно, не было места в душе ни для детей, ни для внуков. А Кольке как-то сказала с грустью:

— Я думала хоть на старости покой обрету. Теперь уже ни мужиков, ни детей не надо. А тут ты объявился ни с того, ни с сего, да еще и пьешь по-скотски. Пить так будешь — выгонит она тебя к чертям. Понял? А сейчас собирайся к ней. Проси, клянись, уговаривай! Чтобы завтра тебя здесь не было. Не стал ты мне своим, уже и не станешь. Крутись уж сам — не маленький...

И уехал Николай “зайцем” в Новый Оскол без копейки, без тепла в душе, без надежды, но с окончательной потерей матери.

Любочка, конечно, тяжело переживала разлуку с Николаем. Развод не оформляла, алиментов не получала, вызывала Брянск на переговоры, но Николай не явился, ударившись в новую запретную любовь, пока в музыкальной школе их не застукал муж его пассии.

Любочка об этом узнала позже, но если бы узнала сразу, то все равно не перестала бы ждать своего мужа, хоть хреновенького, но своего. Работая на заводе упаковщицей, она до чертиков уставала за день, но придя домой, радовалась поднимающемуся на глазах сыночку, доброму настроению матери и отца и ощущала себя защищенной от жизненных невзгод. Хотя из души не улетучилась тревога за Николая, за то, что ее сынок вырастет без отца, а она будет жить без мужа. Она нет-нет да и ощущала себя обделенной, как и женщины-разведенки, как и мать Николая. В разговорах они кляли мужиков, сочувственно поддакивали друг дружке, потому что каждая из них пережила и страстную любовь, и побои, и оскорбления, и позор за своих любимых. Но душеизлияния они всегда заканчивали почти одним желанием: “Попался бы сейчас нормальный мужичок. Разбилась бы, но подход нашла. Только, упаси Боже, не алкаш...” Люба слушала судаченье товарок, в разговоры не встревала, как самая молодая, но сердцем уже понимала, что каждая одинокая баба несчастна по своему, хоть и хорохорится, равнодушие к мужикам на людях проявляет. Но когда идет по улице или сидит одна дома и грустит у окна или у телевизора, то не пропустит взглядом ни одного проходящего мимо или появляющегося на экране мужчину. А сколько бессонных ночей проходит в мечтаниях о них, об этих волнующих душу мужиках! И все это делается незаметно для других, даже чуть-чуть скрытно от самой себя, чтобы нарочитую гордость свою и достоинство не уронить ни перед собой, ни перед людьми. Родители не держали ее под прищелом, не упрекали нескладывающейся жизнью, а старались воспринимать все прошедшее спокойно, не выпячивая все огрехи Любочкиного бытия, залпом пережив все ее неурядицы со слезами, сердечными болями и ощущением униженности перед соседями и знакомыми. Теперь она могла сходить к подружке “на посиделки”, сестрицу съездить проведать, в заводской клуб заглянуть под Новый год. Ни отцу с матерью, ни самой Любочке не хотелось, чтобы она обабилась в молодые годы, надела

маску несчастливки и с головой окунулась в тину семейного болота. Главное, чтобы жила надеждой: пусть без мужа, без ясного завтрашнего дня, но со сладкими снами, здоровым желанием и ночными позывами страстной, Бог весть откуда приходящей истомы.

Любочка не противилась возврату Николая, не играла из себя обиженную и не нуждающуюся в нем. Запах немытого тела, выветривающегося через кожу винно-водочного концентрата и вид ввалившихся щек разбудили у нее уснувшую было жалость к любимому человеку. Они стояли и смотрели в глаза друг другу, словно спрашивая, а как ты чувствуешь себя без меня. А еще его глаза выдали мольбу все простить и принять снова в семью. Он ни словом не обмолвился, что бросит пить, что никогда не поднимет руку на Любочку. Он ей всем видом будто подсказывал: “Бери какой я есть”.

Когда она развела руками, чтобы обнять блудного мужа, он спросил:

— А как мать и отец воспримут?

— Отец, я думаю, простит. Он человек добрый. А мать... Мать не терпит твои пьянки... Будешь трезвым — будет уважать. Нет — изволь... Надо опять искать нам квартиру.

И снова кинулась Любочка убаживать своего мужа. Она плюнула на свои желания, на необходимость следить за собой, ухаживала за мужем и сыном, шныряла по магазинам, тащила сумки с продуктами тяжелее ящиков, которые упаковывала на заводе, стирала белье и успевала подрабатывать уборщицей в своем же цехе. Уставала в заботах, сажала сердце, но в душе радовалась семейному ладу. Николаю об этом не говорила, чтобы не сглазить, но он замечал ее душевную настрой, понимал, что она простила ему прошлое и уже подумывал об очередном “упоении”, которое надо сделать так, чтобы не гневить жену, держать себя в рамках приличия и не провалиться в очередной раз в бездну запоя.

Работая аккомпаниатором в заводском клубе, Николай считал дни и ночи своей непьющей жизни, бравировал на работе и дома своими “достижениями” в трезвости. Но в период коротких “трезвых застоев” у него вылазило наружу ранее скрытое “дерьмо”, которое вызывало у знающих его людей откровенное презрение к нему. Он становился злее обычного, подозревающим у каждого человека только им видимые недостатки, нетерпимым и критичным к братьям-выпивохам, сверх меры болезненным и постоянно выпячивающим свою непогрешимость. “Счетчик трезвости” работал медленно: дни тянулись долго, ночи еще дольше. Николай не знал, куда девать себя в трезвое свободное время, а того, чтобы помочь жене в стирке или уборке квартиры, позаниматься с Антоном, он просто никогда не держал в уме. Часами маялся без дела, читал книги, глазел в телевизор и спал больше обычного, а в душе кипело неистребимое желание выпить. В этом желании Николай сдерживал ненависть к Любочке, скрипел зубами от трезвого бессилия и уже жалел, что снова попал в семейный капкан, теперь более жесткий, чем прежде. Правда, тут сдерживала его больше не Люба. Боязнь тещи, блики появляющейся совести, которые пытались обновить его душу, выветрить мысли о водке, боролись с неуверенностью в дрящей трезвости и желанием утверждения собственного “я”.

Любочка, сделав аборт, решила еще раз родить, пока еще хоть кое-как позволяло здоровье, пусть с риском, но позволяло. Пошла на комиссию, а врач гинеколог дядя

Жора вздыбился, узнав о сумасшедшем кровавом давлении Любочки. Ее поставили на учет и временами укладывали в больницу, заранее подготавливая к родам.

Врожденный эгоизм Николая в душе сопротивлялся семейному капкану, а обострение болезни печени освободило его на время от домашних пут и поместило в больницу. Боль уходила медленно, а за ней, также медленно, возвращалась былая свобода. Любочка навещала его вечерами после работы, а по выходным приходила с Антоном. Он появлялся в пижаме, домашних тапочках, с потрепанным журналом в руках и навеселе. Больница вновь ему напоминала давнишний детдом с коллективными обедами и ужинами, одинаковостью спецодежды и возможностью полакомиться передачами, которые приносили больным. А передавали ходячим и водочку, и вино, и пиво. Забравшись в курилку, мужики смаковали спиртное, курили, поносили бездарных врачей, потом выходили в коридор и по очереди звонили домой, чтобы родственники еще принесли “лекарства”.

Любочка, учуяв запах таких “лекарств” от Николая, ругала его, просила его хоть тут воздержаться от выпивки, грозилась пойти к главврачу.

— Тебя же выгонят из больницы за пьянку и в вырезатель отправят. А там ты знаешь, как лечат. Вызывают к водке отвращение, а срабатывает феномен памяти организма, и человека сильнее тянет к алкоголю. А у тебя печень.

— Я-то знаю такое лечение. А тут не засекут. Мы ведь употребляем по глотку каждый час, а когда днем ложимся спать, то и по три идет... Для тонуса... Все зависит от запасов...

Антошка сидел рядом с отцом и разглядывал дырочку на рукаве его пижамы.

— Папа, это кто сделал дырочку?

— Это мышка прогрызла на складе. Хорошо, что не на попе, сынок.

— На попе, на попе! — закричал Антон и захлопал в ладоши.

Николай улыбнулся сыну, а Любочка сказала ему напутственно:

— Не забывай, что у тебя есть сын. Смотри, какой красавец растет. А ведь и он уже хочет быть счастливым.

Через два месяца вышел Николай из больницы весь бледный от чрезмерного пичканья лекарствами, напуганный своей болезнью и какой-то заторможенный. Он стал ходить, медленно передвигая ноги, словно ощупывая ими дорогу, а в глазах гуляли рассеянность и безразличие. Любочка с тревогой смотрела на эту перемену и в сердцах ругала медиков за то, что залечили Николая. Но когда начала консультироваться у специалистов, то оказалось, что виноват сам Николай, который употреблял и лекарства-наркотики и всякую другую дрянь, имеющую алкогольные градусы. Врачи сказали, что это со временем пройдет, но надо воздержаться от выпивок. Любочка стыдила Николая за его безрассудство, за безволие, за то, что вместо лекарств пил водку, добывая свою больную печень.

— Тебе ведь уже четвертый десяток, а ты ведешь себя, как помешанный. Ты посмотри на себя в зеркало! На кого ты стал похож? Бич — и все. Мать укоряет меня, что ты неисправимый алкоголик, и не надо было тебя больше принимать. А вообще, Николай, ты уже все потерял, что имел. И меня в том числе. Любовь моя к тебе утасует.

Он зло выругался, глядя мимо Любочки в верхний угол, где у самого потолка жужжала, запутавшись в паутине, муха.

— Ты понимаешь, я — не алкаш, я — больной. Болезнь меня крутит, как хочет. Не мне, а ей нужны градусы для собственной поддержки. А я в таком случае бессилен, как эта муха в паутине.

Любочка пыталась понять беспомощность, почти детское бессилие своего кумира, а он никак не хотел понять ее. Ей оставалось три месяца до вторых родов, а Николай запил. Запил тяжело и надрывно, доходя до беспомысленности и безвременья. Вот уже тут наслушалась она упреков собственной матери за свою бесшабашность в любви. Мать долго носила в себе недовольство зятем, даже пыталась забыть все плохое, судя по потеплению отношений между ней и зятем. И вдруг его запой снова родил холод в душе у тещи.

— Говорила тебе — не торопись со вторым ребенком. Не послушала. Поверила, что пить бросил. Эх, доченька моя, не чувствуешь ты его пока, хоть уж не первый год живете. Потерян он для семьи.

— Да я толком-то не верила. Сама заставляла себя верить в лучшее, понимаешь. Заставляла себя в этом кавардаке выискивать и находить, рисовать в воображении и видеть в нем крупинки добра, видеть даже то, чего у него нет и никогда не было. Я пыталась делать его для себя добрым, красивым, любящим меня и сына, и, конечно, трезвым. Пыталась вернуть в него то, что, казалось мне, было у него в самом начале нашей семейной жизни. Тебе, мама, трудно понять, как я хочу, чтобы он стал человеком.

А Николай допился до белой горячки, попал на лечение и после выхода из больницы продержался трезвым шестьдесят два дня и двенадцать часов. И опять булькали в его горле и водка, и стеклоочиститель, и элутеррокок, и одеколон.

Любочку снова поместили в больницу, снова сбивали давление, а мужик ее, как тень, слонялся около пивнушек, где можно “строить” или надурнячка выпить. Его уже знал не один десяток бичей и интеллигентов при галстухах, но в мятых костюмах, выбритых до синевы или заросших щетиной, с поцарапанными лицами или с синяками под глазами. Они были в большинстве своем худосочные, в кургузых пиджаках и вышедшей из моды обуви, с трясушимися руками, но высокими лбами, где угасал от водки былой ум. Они по воспитанной привычке звали друг друга по имени-отчеству, вежливо предлагали быть третьим и тщательно протирали платочком стакан от пыли за пятьдесят граммов водки.

Для Николая в это время уже не было забот, где переночевать. Собутельники были вежливы и добры, нередко делились не только огрызком закуски и глотком водки, но и ночлегом в каком-нибудь бараке или в захламленной и прокуренной благоустроенной квартире, оккупированной тараканами. Если тараканы разбегались от включенного в полночь света, то на “огонек” слетались, словно летучие мыши, “бичевки” — отвратительные создания пьяной жизни. Пьянство их старило, коверкало их фигуры и лица гораздо быстрее и резче, чем мужские, а крепкий “Беломор” добавлял землистости их телам.

Несмотря на их квазикрасоту, пьяный кураж процветал на ночных сборищах “интеллигентов” и “бичевков”, среди которых были тунеядки, воровки, рецидивистки,

но все они болели одним недугом — алкоголем. Их интеллект находился справа от нуля по оси вульгарных координат и блистал на фоне угасающего умственного потенциала “интеллигентов”. Богатый жаргон городских свалок, тюремных зон напрочь подавлял язык литературных классиков, на которых воспитывались в трезвости “интеллигенты”. Но любовь к водке свела в одном болоте музыканта с воровкой, педагога с тунеядкой, врача с наркоманкой, адвоката с рецидивисткой. Николай вписался сходу в городские алкогольные ансамбли, стал своим в стихийных тройках, сбегаящихся, чтобы сброситься “по рублю” и выпить. Когда кончались деньги и выпивка, надо было возвращаться домой тем, у кого была крыша над головой. Возвращаться после двух-трехсуточных запоев, отошавшим, заросшим щетиной, с дурным запахом и с потемневшим от пота воротом рубашки, но при галстухе, и с тяжелой хмельной головой.

Николай всю зиму двигался по одинаковому маршруту, особенно в выходные дни и когда получал аванс или получку. Так незаметно прошла зима. Дома стали привывать к его пропажам, в милицию не заявляли, по притонам не искали. Правда, с работы присылали гонцов, грозились его уволить, но нехватка в клубе музыкантов гарантировала прощение Николаю, если он даже пьянствовал неделю. И так изо дня в день, из месяца в месяц. Редкий день проходил “насухую”, с трезвым восприятием окружающего, жены и сына...

... На улице уже буйствовал май. Сады цвели, добавляя природе белизны, подсыхали после весенних луж дорожки, а люди, сняв зимнее, не толпились на остановках в ожидании трамвая, а предпочитали належке пройтись по благоухоающим улицам.

Николай в шесть утра был уже на ногах. Хлебнув кружку холоднячку, он на цыпочках, чтобы не разбудить Любочку и сына, прошел на кухню, взял ключ, закрыл их и направился в скверик, где с утра такие же горемыки, как он, ждали старух с водкой, чтобы опохмелиться. Все маялись в скверике поодиночке, не подходя друг к другу, соблюдая полную конспирацию, чтобы их не накрыла милиция вместе со старушками.

Вскоре появились с разных сторон скверика три бабки с корзинами, словно спешащие на рынок. Мужики начали группироваться, доставать деньги и отправлять гонцов вдогонку старухам. Но бабки и не торопились уходить. Они “засветились” и ушли с главной аллеи в укромные места, где и начали бойкую торговлю. В корзинах каждая бутылка водки была завернута в тряпочку, чтобы не звенела, а в целлофановых пакетах белели пластмассовые стаканчики, зеленый лук, куски хлеба и соленые огурчики. Одним словом — передвижные закусочные.

Николай в складчину с “сотоварищи” взяли две водочки, пару огурчиков, луковицу и скрылись в кустарнике, где был спрятан стакан, остатки вчерашней закуски. Так коротал он дни начавшейся весны. Сначала опохмелялся, приходил в обычное жизненное состояние, а далее была неторопливая выпивка, перекуры, разговоры о политике, нередко переходящие в споры, скандалы и потасовки. Одни уходили, другие приходили, но такие же безработные и увлеченные выпивкой, как Николай, просиживали целый день, даже спали в кустах, потом снова опохмелялись и пребывали в такой круговерти кто день, а кто и всю жизнь, если их не подбирали милиция или по пьяни не “давали дуба”.



Николай не заметил, как Любочка оказалась в роддоме. Врачи разводили руками, уговаривали прервать беременность, потому что в таком состоянии роды завершаются трагедией. А Любочке страшно хотелось второго ребенка. Она понимала, что если не родит сейчас, то завтра уже будет поздно. Она чувствовала, что от такой жизни скоро станет развалюхой, а врожденный порок сердца через год — два совсем лишит ее возможности рожать.

Она лежала в одноместной палате, куда помещали тяжелых рожениц, и ее каждый день пытались уломать на отказ от родов. Любочка приподняла голову от подушки и глазами, полными слез, посмотрела на очередного уговорщика. Перед ней стоял ее знакомый гинеколог дядя Жора, могучий, с крупными волосатыми руками, похожий больше на рыночного мясника, чем на врача, но как оказалось, с доброй и нежной душой.

— А ну-ка, деточка, откинь одеяло. Ба! Знакомые все лица. Узнаю, узнаю. По-моему, Заречнева?

— Да, Георгий Иванович! Мы с вами уже не раз встречались. Выручайте, а то на меня насаждают, чтобы отказалась рожать.

Он осмотрел соски, прощупал шевеление ребенка, а потом пульс.

— Там у тебя все в порядке, а сердце твое не предназначено для родов. Болезнь твоя требует спокойной жизни без больших натуг и переживаний. Я помню, как ты первого рожала. Все думали, что кончишься... Ну, слава Богу, выкарабкалась. А теперь дела еще сложнее. Но, может, что-нибудь придумаем.

Любочка заготовила все же расписку, а дядя Жора что-то придумал. В июне она родила девочку весом два пятьсот, розовенькую и хрупкую. Теперь ее перевели в общую палату, где лежали еще трое молодых женщин, освободивших свои чрева от девятимесячной тяжести. Они нет-нет да и ощупывали свои провалившиеся от длительной растяжки животы, проверяя, как мышцы ставят все на свои места. Женщины днями щебетали о своих ощущениях при родах, хвалились количеством посаженных на местах разрывов швов, хохотали, обдували болючие соски. Словом, чувствовали себя, как люди, сделавшие важную и трудную работу. От одинаковой голубизны их глаз белоснежная стерильная палата светилась особым небесным светом, видно, потому, что они совершили божественное дело, дав жизнь четверым божьим душам.

... У Любочки молока хоть отбавляй. Она сцеживала его в баночку и отдавала соседке по палате, у которой его не было, а та угощала ее клубничкой.

На второй день ее навещил отец с матерью да маленький Антон. Она показала в окошко дочь, показала знаками, что у нее все нормально и передала через медсестру записку, в которой спрашивала, где Николай и как назвать девочку. Мать не хотела расстраивать Любочку и сказала медсестре, что Николай работает и завтра придет в роддом.

Любочка плохо спала ночью, торопила время, чтобы быстрее увидеть Николая, обрадовать его дочерью и своим хорошим самочувствием. Мужья ее соседок уже успели побывать по несколько раз, а Николая так и не было. Она в душе чувствовала себя униженной, как будто нагуляла ребенка, и за ее грех к ней никакого внимания. Она нервничала, плакала украдкой, уткнувшись в подушку, но он так и не появился в назначенный день. Обиделась она на него безмерно, возненавидела за садистское отношение к себе. "Оказывается, садистом можно стать, ни-

кого не трогая даже пальцем. Я теперь понимаю, что моральный садизм еще тяжелее физического, потому что тебя перестают сначала любить, потом уважать, а потом и замечать. Ты вроде и живешь рядом, и безмерно стараешься быть полезным любимому человеку, но для него ты уже не существуешь, — сделала вывод она. — Я для него уже мертва, а жить надо ради детей". После этих мыслей она успокоилась, освободилась от тревоги, сверлящей мозги, и снова вернулась в жизнерадостный настрой всей палаты.

Николай в запое пропустил рождение дочери, выпилку жены из больницы и даже не думал, как назвать дочь. Любочка сама дала ей имя Алена, сама оформила все документы и первые два месяца жила у родителей.

Когда ему сообщили о рождении дочери, он бросил пить, стал наведываться к родителям Любочки, отдавать зарплату, обедать и ужинать у них, а ночевать в снимаемой квартире. Хозяйка квартиры не раз любопытствовала, где Любочка, почему не появляется, и как чувствует себя новорожденная. Николай выкручивался как мог, уходил от ответов, но когда скрывать было уже невозможно, он рассказал, что они временно не живут, Люба у матери, где есть и холодная, и горячая вода, и ванная. Там, мол, условия лучше и для жены, и для дочери. Хозяйка недоверчиво смотрела на Николая и укоризненно качала головой:

— Вода — дело хорошее, да видно водка твоя вынудила ее уйти. Стыдно, Васильич, так пить. Променять на водку жену, сына, дочь. Я ведь тебя ни разу не видела гуляющим с сыном. Жена у тебя трудится, как пчелка, а ты только в бутылку заглядывать мастак. Зачем она тебя держит, тунеядца? Позоришь ее на каждом шагу, семью разваливаешь. Да если бы не она, я бы тебя в квартире терпеть и дня не стала.

— Все, Мария Николаевна! Я уже завязал с этим делом. Надоело бичевать. Пора за ум браться.

И он щелкнул себя по кадыку. Он пытался, пространно рассуждая, убедить хозяйку, что не пьет, а сам ни на йоту не верил сказанному, даже удивлялся сам себе, что сегодня он трезвый. Он внутренне ощущал себя совсем другим, ощущал себя частями, какими-то маленькими дольками, насколько еще хранила память то давнее состояние трезвости. Снова побаливала печень, давила изжога, нередко заходило сердце. Его внутренности призывали уже работать с допингом и насухую давали сбои.

Любочка, как могла, лечила Николая травяными настоями, чистила печень и отпаивала молоком, которое каждое утро приносила теща с рынка для двух растущих внучат и хиреющего зятя.

Николай заходил утром к Любочке, выпивал пол-литра молока, ложку настоя и к десяти утра торопился на работу. Сидя на кухне, он виновато смотрел на уставшую жену, украдкой, чтобы не видела теща, поглаживал по голове, словно хотел снять с нее усталость. Любочка видела, что он скучает по ней, что ему нужна сейчас женщина, что кусок его трезвой жизни все же наполнен любовью к ней, к своим детям. А Николай и сам не понимал толком то вернувшееся чувство, принимая его больше за необходимость — "так надо". Он себя так и не осудил за то, что не появился в роддоме, за то, что не поддержал жену, когда она шла на риск, за то, что так и остался один в этом для него потерянном мире.

Иногда, словно опомнившись, он на цыпочках подкрадывался к кровати Аленки и рассматривал ее бледное



личико, раздувающиеся ноздрики, ошупывал рукой пеленки и шепотом звал Любочку:

— Мама, а мы, кажется, обсикались.

И осторожно, словно по воздуху, возвращался на кухню.

Любочке интересно было видеть его в роли отца, пусть и в пустячных делах. Когда это проявлялось, то уже не только интерес, но и надежда на его выздоровление возникала более осознанно и зримо.

И Любочка снова простила все. Забыла свои унижения и обиды в роддоме, сняла с него свои собственные проклятия, пыталась забыть всю прошлую тяжелую жизнь. Она просто привыкла прощать за прошедшие десять лет, а он уловил ее слабость и жил от проклятия до прощения, не замечая и не окунаясь в горнило семейной жизни. Она проходила, словно вне его. Он не заметил, как выросли из пеленок дети, ни разу не спросил, как учится Антон. Он не создал ни одно звено семейной жизни, кроме женитьбы на Любочке. А только все разрушал, что создавала жена, разрушал, не понимая, что такое семейная жизнь. Даже рождение детей было не результатом его желаний их иметь, а результатом его похоти, когда он, очнувшись от пьяной спячки, толкнул Любочку под бок и навалился в каком-то неистовстве на ее почти спящее тело... Ты, наверное, удивишься, читатель, а можно ли годами хранить любовь к такому человеку? И что за женщина Любочка, бессловесная и бесхарактерная, прощающая все подлости своему мужу? Не зря греческие мифы утверждают, что женщина может влюбиться в быка, в изверга или палача, потому что ее любовь выше всякой рассудочности. Вот и Любочка влюбилась в кого Бог послал, всколыхнулась всей душой, всем телом своим! Но напакастит он ей — и снова она ненавидит, презирает его, не переносит запах его тела, шлет проклятия за испорченную жизнь. Потом встряхнет ее какая-то неведомая сила, перевернет всю, может даже обновит, по-свежему заставит на жизнь смотреть. И опять нет никого лучше Николая, и опять верой и правдой служит она своему мужу. Ее чувства бывают настолько обновлены и нарастающи. Но уже через несколько дней она снова ощущает тусклость и никчемность прожитых лет, наступает апатия, чувство бессилия перед превратностями судьбы. Никто другой ни разу не привлек ее внимание, не задел кладовые ее любви. Никто, кроме Николая. Но сейчас она снова теряла к нему интерес. И так всю жизнь. Сколько раз порывалась разойтись с ним навсегда, но дети сдерживали ее порыв. А случись это, и, может быть, пошла бы ее жизнь по другому пути, может, безлюбивому, но спокойному и размеренному, как у большинства людей.

Легкий ветерок, подувший с левого берега, начал разгонять туман, высвечивая пятна реки, усеянные стаями собирающихся в дорогу птиц, заросли камыша, принявшего на себя дыхание ветра, и лодочную стоянку, пригнувшуюся у пологого берега Дуная.

Любочка с интересом смотрела, как хозяйничает ветерок на реке, чувствовала как пронизывает ее тоненький плащ и щекочет где-то на груди, заползает за спину, выводя ее из оцепенения и тяжких дум о своей жизни.

Она шла берегом в сторону лодочной станции и увидела среди копающихся в моторах мужиков председателя колхоза, по-хозяйски осматривающего полуглиссер, выделявшийся своим удачным дизайном и комфортом на фоне дюралевых и деревянных лодок.

Он тоже увидел ее и махнул рукой, приглашая к лодке. Любочка спустилась к воде и шла по самой кромке берега, обходя грязевые лужи, маленькие бухточки и накатывающий сырого песка, шла почему-то охотно и с большой надеждой на близкое облегчение от сковавших ее по рукам и по ногам безответных вопросов. Хотя она мало знала Михаила Николаевича, ей хотелось именно ему излить свою женскую душу, освободиться хоть от части своих переживаний.

— Что это вам с утра не спится, Любовь Дмитриевна? Заботы одолевают, что ли? И почему одна, а где благоверный? Небось, опять продолжает гулять?

— Отправила я его к матери с детьми. Сегодня буду клуб передавать, а там контейнер сдам и сама домой махну.

— А как же он уехал без трудовой? Вы ведь знаете, что ему “сорок седьмая” грозит? А с ней его не то что в клуб, в тюрьму не возьмут. Он даже на беседу не явился ко мне. Я сказал в кадрах — трудовую не выдавать...

Она слушала председателя колхоза и жалела, что подошла к нему. “Не тот, видно, он человек, которому можно поплакаться. Не поймет он меня. Только стыдить и сможет”, — подумала она, глядя на невысокого, крепко сбитого, с бычьей холкой Михаила Николаевича.

А он завернул голенища резиновых сапог, закурил и, глядя на нее оценивающим взглядом, сказал:

— Ладно, передавайте пока клуб, а по мужу будем решать позже.

Потом подошел к “газику” и, словно опомнившись, сказал:

— Вы на работу? Садитесь! Подвезу.

Любочка с удивлением приняла предложение, а он открыл дверцу и галантно подержал ее за локоток при посадке в машину. Ей казалось, что он из-за Николая в обиде и на нее, и она в машине сначала чувствовала себя скованно, словно не в своей тарелке. А Михаил Николаевич изучал ее, глядя в переднее зеркало, ерзал на сиденье, вытягивая шею то влево, то вправо, пытаясь глубже разглядеть эту расстроенную хореографиню.

“Такую я еще не пробовал, — молча, с улыбкой, размышлял Михаил Николаевич. — Есть шанс пополнить свою коллекцию, тем более, что ей нужна помощь. Надо привлечь Ольгу. Как говорится, услуга за услугу”.

Любочка тоже видела в зеркале его маленькие, заплаканные тугим еще жирком серые глаза, короткую полную шею и укутавшую голову пышную шевелюру. Если бы не эти кудри, то он и статью, и лицом напоминал любимого Любочкой актера Евгения Леонова.

Она сидела на заднем сиденье в председателемском “газике” и удивлялась сама себе, что прожив на свете двадцать семь лет, впервые зацепилась взглядом за постороннего мужчину и нашла что-то свежее в его некрасивом лице. “Оказывается, мужики еще и такие бывают”, — открыла она для себя, выйдя из машины. Этот человек не был похож на Николая. И поэтому она не почувствовала никакой сердечной, душевной тяжести, оказавшись с ним в его машине. Она в душе восхитилась им, сумевшим после нескольких минут разговора, найти слова и тон, снявшие с нее сомнения в неразрешимости Колькиных дел.

“Вот дура-то, чуть не пожалела, что душу ему открыла. Думала — обидит, а он понял меня. А вдруг поможет, — успокаивала она себя. — Видно есть Бог на свете, что послал мне доброго человека в тяжелую минуту.”

Правда, у нее в душе сразу возник серьезный заслон против какого-либо особого отношения к Михаилу Николаевичу, заслон в лице ее мучителя Николая, верность которому она хранила все десять лет семейной жизни.

Находились дерзкие мужики, предлагавшие руку и сердце Любочке, когда она бывала очередной раз в неофициальном разводе. Даже бывшие соклассники, тайно влюбленные в нее еще в школе, но так и не открывшие своих чувств в юности, находили ее в разных городах и в селах, писали письма и готовы были жениться на ней при любых условиях. Любочка отвечала им шуточными письмами и подчеркивала, что она замужем и счастлива в семейной жизни. Конечно, она обманывала их, лицемерила перед ними, но она, глубже познавая своего Кольку, все больше и больше разуверялась в мужчинах.

И вот тут что-то сотворилось у нее внутри. Ведь каждый человек, будь он мужчина или женщина, с ярко выраженным устремлением к поиску или неподвижно-инертным, как дремотная вода дунайских плавней, приходит в своей жизни к отправной точке, приходит раньше или позже к тому, что начинает анализировать свое отношение к тому или иному человеку, событию или явлению, ища в них самое лучшее и потому дорогое своему сердцу.

Для нее Николай был уже почти ясен, как чистый лист бумаги. Она научилась читать его, предвидеть его реакцию на жизненные ситуации, но никак не предотвращать или хотя бы управлять его поступками. Ее любовь к нему была ключом, которым Николай открывал в ее сердце дверь к чувству прощения своих прегрешений.

А утренняя встреча с председателем не выходила из сердца, как не уходила мысль о нем из головы. Что их удерживало в Любочкином естестве, понять ей было сложно. Такое случилось с ней впервые. Если идти путем рассудка, то Любочка надеялась, что встреча облегчит участь Николая, и в трудовой появится запись "по собственному желанию". Если идти путем чувств, то здесь было что-то выше этой пресловутой записи. Михаил Николаевич заинтересовал ее как мужчина, способный повлиять на ее судьбу, но не через запись, а может, через ее страстное желание снова видеть его. В какой-то момент ушли ее переживания: и Николай, и дети, и трудовая книжка. Любочка оказалась одна, свободная от всех, впервые за десять лет семейной жизни. И свобода подсказывала ей желания снова прокатиться в председателемском "газике", слышать его голос, видеть его улыбающиеся хитроватые глаза.

День прошел в хлопотах. Вроде и клубик небольшой, а работы оказалось много. Когда акты приема-передачи были готовы, Любочка с облегчением вздохнула, что все сошлось с бухгалтерским учетом. Потом она договорилась с завгаром, чтобы завтра вывезти контейнер, и пошла в отдел кадров колхоза. Инспектор по кадрам встретил ее приветливо.

— Здравствуйте, Любовь Дмитриевна! Передали уже свое хозяйство?

— Здравствуйте! Передала, слава Богу, без недостатков. Акты все в бухгалтерии. Я вас попрошу, Клавдия Ивановна, подготовьте трудовые книжки. Я дня через два уезжаю.

— Знаете? Скажу вам по секрету: наш голова приказал трудовые книжки не выдавать. А если выдать, то мужу записать сорок седьмую. Вам надо с Михаилом Николаевичем встретиться.

— Я уже с ним встречалась вчера. Обещал уладить, а сам еще и вас предупредил о невдаче. Непонятно!

— У нас председатель мужик лихой и падкий до молодых бабенок. Может, и на вас глаз положил. Остерегайтесь. А уйти от него очень трудно. Найдет повод, как добрататься и до вас.

И она сокрушенно покачала головой.

Любочка удивленными глазами смотрела на инспектора и не знала — верить или не верить ее словам. Ведь только вчера он ей показался обходительным, участливым и приветливым. "А может это его арсенал обаяния, чтобы мозги запудрить таким, как я", — маялась она в догадках, выйдя из отдела кадров. В коридоре ее догнала Ольга, секретарь комитета комсомола и, положив руку на плечо, заговорщически шепнула на ухо: "Пойдем ко мне в комитет. Дело есть".

Любочка думала, что Ольге надо снять ее с учета, достала из сумочки комсомольский билет, а та, выдав ей учетную карточку и дав расписаться, сказала:

— Я тебя, Любочка, пригласила не по этому вопросу. У тебя с мужем проблема. Председатель приглашает нас с тобой в пятницу вечером "на природу". Приехал журналист из "Комсомолки", надо будет это дело отметить, а заодно договориться и по трудовой. Поняла?

— Ольга! А удобно ли будет надоедать со своими проблемами? А разговоры?

— Ты положишь на меня. Я все организую, что комар носа не подточит. Я уже имею опыт в таких делах.

Ольга, высокая, розовощекая девушка, уже пять лет была вожаком молодежи колхоза. Бывший ветспециалист, она по рекомендации Михаила Николаевича перешла на комсомольскую работу, а вскоре стала незаменимым организатором вечеринок, чаепитий председателя колхоза с "официальными" и "неофициальными" лицами. Когда подбирались компания и там не находилось пары для Михаила Николаевича, Ольга предлагала свои "услуги" председателю. В председателемском "газике" и полуглиссере всегда лежали верблюжьи одеяла на случай "вынужденной посадки", по две бутылочки "Белого аиста" и по две плитки шоколада. Ольга по мере расходов "аварийного питания" регулярно пополняла запасы, чтобы председатель не попал впросак. За рулем он был всегда сам, поскольку считал, что водитель — это пара лишних глаз и ушей, и не с каждым можно "сварить кашу". А сколько Михаил Николаевич уже "сварил каш" с женщинами, никто не знал, даже Ольга. Теперь очередной "кашеваркой" была выбрана Любочка.

Она с недоверием смотрела на Ольгу, чувствуя в ее затее какой-то подвох. Отказаться от "природы", значит лишиться возможности побыть рядом с председателем, оставить в трудовой Николая "сорок седьмую", но сохранить гордость, несговорчивость и верность собственному мужу. Согласиться — значит получить благосклонность председателя, нормальную трудовую книжку и что-то еще неизвестное, но интригующее душу.

— Короче, Любочка, настраивайся на пятницу. Я тебя найду сама.

В ее тоне она почувствовала безапелляционность, исключающую всякие возражения.

Вечером долго не могла уснуть, осмысливая различные варианты своего поведения "на природе". Большинство из них были приемлемы для нее, кроме одного. Он, конечно, захочет с ней близости, а это очередное для него утешение, способное приоткрыть ему ее женскую тай-

ну, ощутить в его руках ее, скрытое от чужих глаз, тело со всеми тайнствами любви.

— Ладно. Надо спать. Утро вечера мудренее, — сказала она сама себе и погасила ночник в совершенно пустой квартире.

В четверг утром Любочка сходила в гараж, взяла автомашину с автокраном, погрузила контейнер и сдала на железнодорожной станции. Начиная накрапывать легкий дождик, нудный и, как казалось ей, переходящий в обложной. А обложные дожди в тех краях идут сутками, и у Любочки родилась надежда, что завтра, возможно, “природы” не будет из-за дождя, и ей надо освободиться хоть на время от засевших в голову мыслей о завтрашней вечеринке. Любочка ехала в машине по скользкой дороге вдоль Дуная, покрытого рябью от падающих дождинок, а впереди, сквозь запотевшее стекло, она увидела прыгающие на выбоинах плавни. В дождь они казались еще таинственней, зловещей и угрюмей, чем в ясную погоду. “Видно птицы уже улетели за Дунай, куда-нибудь в Турцию, где потеплее”, — вспомнила она еще недавно неумолкающие крики садящихся на речку водоплавающих птиц, собирающихся в большие табуны перед дальней дорогой. Вскоре их обогнал председательский “газик”, ехавший из райцентра. Рядом с Михаилом Николаевичем сидел молодой мужчина.

“Это и есть, наверное, пресса”, — подумала Любочка и опять вернулась мысленно к завтрашнему пикнику.

А Михаил Николаевич тоже не мог дожидаться пятницы, ругал про себя невесту откуда взявшийся дождь и строил планы овладения Любочкой. Наметив очередной объект своих будущих чувств и страстей, он уподоблялся величайшему из стратегов. Он начинал обдумывать в мельчайших подробностях планы знакомства и сближения. Он прикидывал, рассчитывал, он “делал шаги” навстречу. Каждое слово, жест, поступок, улыбка — это новый шаг к сближению, это новый шаг к победе. Что касается Любочки, то здесь было и проще, и сложнее. Проще, потому что она просительница, а сложнее то, что времени на тактику у председателя не оставалось — Любочка уезжает. А коль уезжает — не будет ежедневно перед глазами маячить, нездоровые слухи создавать. Дома ведь жена узнает — опять разборки начнутся. Но жена есть жена. Дома все на ней: и хозяйство, и дети, и кухня. Тоже угождает ему, чтобы “государственный муж” вовремя пообедал, вовремя поспал, здоровым и бодрым ушел на работу. А все его “кадровые дела” до нее доходят, как всегда, до последней. Терпит она, старается не замечать его гульки, да и райкомом не грозит. Там узнают — с председателей снимут да и из партии могут выгнать. А он на хорошём счету в районе. Хозяйство в гору пошло. А снимут — куда он пойдет? Работать сам разучился, только руководить может. А с плохой репутацией начальником не поставят. Кто больше всего пострадает? Семья его. Не будет того, что сейчас есть. И комбикорм, и овощи, и молоко, и мясо — все бесплатно в дом везут. Так рассуждает его жена, рассуждает сама с собой, чтоб никто не слышал, забыв, что такое любовь, что такое ревность и женская гордость. Все ушло в быт, покрылось травой забвения, хотя и прожила-то на свете всего тридцать пять. Давно уже она его ни к кому не ревнует, свыклась с его кобелиным нутром и ждет пока успокоится сам...

... Дождь прекратился ночью. Утром выкатилось солнце, подсушило землю и установилась теплая безветрен-

ная погода, какая бывает золотой осенью. Радостная Ольга зашла к Любочке домой.

— Привет. У меня все нормально, все заготовлено. Журналер симпатявый. Я думаю, что сегодня чуть-чуть отвлечемся от дел земных. В шесть заезжаем за тобой.

— Ольга! Что-то мне не по себе становится, как вспомню про “природу”. Я никогда этими делами не занималась, и сейчас аж в пот бросает.

— Успокойся — не маленькая! Кроме своего алкаша, видно, никого не знаешь. Посидим, выпьем, поболтаем с интересными людьми. А еще председатель сказал, что ты должна быть — кровь из носу. Втюрился, видно, он в тебя и хочет пообщаться...

— Ладно. Заезжайте. Будь что будет.

Любочке хотелось сказать Ольге, что председатель сегодня ночью приснился и даже целовал “взасос” во сне, но она сдержалась, чтобы не выдавать своих чувств к Михаилу Николаевичу.

Машиной ехали недолго, минут двадцать пять, туда, где излучина Дуная живописно окаймляла с трех сторон покрытый небольшим кустарником уголок земли, покрытый пожелтевшей стерней. Свежий воздух, очищенный ночным дождем, повис над этой лужайкой, словно ждал случайных гостей. А вокруг — ни души, только нет-нет, да прошмыгнет в сторону плавней запоздавший одинокий бекас.

Володя-журналист, пока девушки раскладывали скатерть и готовили “стол”, снимал Дунай во всей его красе. Михаил Николаевич удобно поставил “газик”, отрегулировал фары, чтобы можно было подсветить в темноте скатерть-самобранку, и включил магнитофон: А Любочка суетилась, старалась помочь Ольге, но расставляла закуску, стаканы как-то неловко, потому что находилась под постоянным вниманием председателя колхоза, который будто ненароком оглядывал ее со всех сторон, выискивая ее притягательные точки. Потом Михаил Николаевич достал из багажника дровишки для костра, рогатки, шампур для шашлыка и виртуозно, как фокусник, начал на них нанизывать приготовленные заранее Ольгой куски мяса. Теперь уже работа у всех шла споро, потому что каждый в душе хотел побыстрее усесться у скатерти-самобранки и начать долгожданную трапезу.

Коньяк разливал председатель как гостеприимный хозяин, разливал мастерски, словно всю жизнь проработал барменом. Любочке перехлестнул через край, подчеркивая то ли степень своей влюбленности в нее, то ли желание быстрее ее одурманить, чтобы отвести душу на верблюжьем одеяле.

— Я предлагаю первый тост за знакомство, потому что Володя и Люба для нас люди новые, — сказал председатель и чокнулся первый с Любочкой, потом с Володей, потом с Ольгой. Михаил Николаевич заранее распределил роли и намекнул Ольге, чтобы она взяла на себя Володю. А сам как мог блистал остротами перед Любочкой, говорил какие-то скабрёзности, хмельно извинялся и снова входил в общий разговор. Любочка больше слушала, чем говорила, и в то же время держала себя в узде, чтобы снова вернуться к делу о трудовой книжке Николая.

Второй тост был за женщин. Михаил Николаевич и Володя встали и по-гусарски опрокинули рюмки. Третий тост был за любовь. Мужчины поцеловали женщин, каждый — “свою”. Любочка ощутила его холодные губы, но



от него самого шло какое-то необычное тепло, сильнее чем от рядом горящего костра.

Дальше компания разделилась на две группы. Михаил Николаевич с Любочкой готовили шашлыки, а Володя с Ольгой ушли к воде мыть посуду.

Отблеск костра таинственно мерцал в полумраке, создавая у Любочки иллюзию волшебства, а выпитый коньяк придавал иллюзию реальности. Она чувствовала рядом его, этого коренастого толстяка, чувствовала, его как мужчину. Это было особое, давно забытое ею чувство, когда пугает и волнует опасность, но пугает совсем безотчетно и не сильно и, может быть, этим самым лишь умножает волнение, усиливает его остроту. А он целовал ее нахраписто и страстно, обняв левой рукой, а правая уже лежала у нее на груди и нежно ласкала сосок.

— Михаил Николаевич, не надо. Не надо, миленький, — прошептала она в перерывах между поцелуями, а сама с надеждой ждала возвращения Ольги и Володи.

— Вот ребята идут, — сказала Любочка, увидев в темноте их силуэты.

Михаил Николаевич, тяжело дыша, недовольный, отпустил Любочку.

— А теперь, ребятки, под шашлыки! — поднял рюмку Михаил Николаевич, шепнув на ухо Ольге, чтобы та налила Любочке коньяку в стакан.

Ольга налила себе и Любочке по полстакана коньяку и сказала ей: «Давай теперь для смелости!» Любочка залпом выпила коньяк, а Ольга подала ей шашлык, приговаривая: «Вот молодец, Любашка. Не подвела меня».

У Любашки закружилась голова. Она видела уже два костра, двух Володей, двух Ольг и двух Михайлов Николаевичей. Она обхватила голову руками, пытаясь остановить этот калейдоскоп лиц, а потом заплетающимся языком попросила Ольгу дать ей выпить соку. Ольга поднесла стакан с соком, а Любочка прошептала ей на ухо: «Этот коньяк был лишним. Меня тошнит». Ольга протянула ей руку, и они скрылись за машиной. Любочку вырвало и она почувствовала себя чуть легче, хотя голова по-прежнему раскалывалась. Они снова присели у костра и Ольга чуть заметным кивком Михаил Ивановичу дала понять, что Любочка «созрела».

Он взял одеяло, помог Любочке подняться с земли, окутал ее им и, поддерживая под руку, повел прогуляться. Она, увидев на себе одеяло, удивленно спросила:

— А это зачем?

— Чтобы не замерзнуть. Прохладно стало.

Любочка не чувствовала прохлады, коньяк гнал горячую кровь по ее телу, грел ее, придавая смелости и развязности.

— Ты куда меня ведешь, дорогой председатель?

Она, плохо соображая, перешла на «ты» и, обнимая его за шею, почти висела на нем, то ли выжидая, что будет дальше, то ли сильней и сильней пьянея.

— Скоро будем дома, Любочка, — успокоил ее целуя председатель и выбирая подходящее место для «дуэтного» отдыха. Он чувствовал, что она тяжелеет с каждой минутой, и его рука нахально гуляла у ее бедер. Любочка почувствовала его желание и закричала:

— Уберите руки. Они у вас, как утюги, горячие. Синяки будут на ногах.

Но Михаил Николаевич не обращал внимания на просьбы Любочки. Он знал, что женщины умоляют мужчин не делать с ними ничего против их воли даже тогда, когда пылают страстью. Они пытаются оттянуть время,

чтобы услышать слова об их красоте, о любви к ним, ощутить на себе град поцелуев и тогда, будто обессилев от ласк, они охотно отдаются мужчинам. Но сегодня у председателя был особый случай. Сегодня они нужны друг другу из-за меркантильности обоих. У него есть к ней чисто мужской интерес, ей нужна чистая трудовая непутевого мужа. Он огляделся вокруг, резко сдернул с нее одеяло и раскинул на стерне. Все произошло так быстро, что Любочка успела лишь съежиться от охватившей ее прохлады и тут же оказалась на одеяле. Еще миг — и его губы впились в ее широко раскрытый рот, страстно ища там ее язык, а рука скользила вверх по ногам. Любочка крутнула головой, уводя свои губы от поцелуев, и закричала:

— Не надо! Не хочу! Не хочу!

Председатель легко прикрывал ей рот рукой, потом гладил по щеке, пытаясь успокоить вырывающуюся из под него женщину.

— Я люблю тебя, слышишь! Мне нравишься ты с тех пор, как увидел тебя в конторе. Весь год я болел тобой, а сказать не было возможности...

— Отпустите меня. Я прошу вас... Я не хочу так...

Михаил Николаевич уже чуть было не подумал перенести такую встречу на завтра и договориться на полном согласии. «А может она хитрит? — мелькнуло у него в голове. — А завтра ручкой помашет, и поминай, как звали. У меня такие номера не проходят...»

И он еще напористей стал обнимать Любочку. От напряжения ее голова стала тяжелеет, давление туманило глаза, а сил сопротивляться мужчине уже не оставалось. Теперь она ощутила его липкую руку под резинкой плавок и, обессилев, в изнеможении развела бедра. Шестипудовое тело мгновенно придавило Любочку к одеялу, потом дало возможность лечь поудобней — и его обладатель жадно припал губами к ее груди. Этого хватило Любочке, чтобы покориться страсти...

... Утром она проснулась в своей пустой квартире с тяжелой ангиной и долго не могла понять, что с ней вчера произошло, пока не появилась у нее дома Ольга.

— Ну как дела, Любаш? Жива, здорова?

— Болею. Ангина. Температуру гонит.

— Видно вчера простыла. А Михаил Николаевич переживает. Отправил тебя проведать и сказать, что хочет с тобой встретиться. Только с тобой.

— Передай, что я не могу. А вообще он нахал. Не зря бабы говорили... Спить, а потом буром переть...

— Успокойся, — покраснела Ольга. — Но имей ввиду, понравилась ты ему на одеяле. Давно, говорит, такой страстной не встречал.

Ольга сделала ударение на словах «одеяле» и «страстной», удивленно заглядывая ей в глаза. Уж она-то знала вкусы и возможности председателя, и чем могла его удивить и покорить эта пухленькая кнопка — для Ольги осталось загадкой.

... Любочка, поправившись через четыре дня, взяла бутылочку вина, угостила инспекторшу отдела кадров и та, вопреки запрету директора, выдала ей две трудовые книжки с записями «по собственному желанию».

## Казимир ЛАБАНАУСКАС

*Лабанаускас Казимир Изидорович, главный специалист по фольклору Таймырского окружного центра народного творчества. Является составителем серии сборников "Фольклор народов Таймыра", изданных в Дудинке и Красноярске в 1993 — 1995 годах.*

### ДВА ШАМАНА

*(Энецкая сказка)*

Говорят, когда-то жили два шамана. Они были из разных народов: один был энец, а другой — эвенк.

Оба шамана любили хвастаться друг перед другом.

Энец говорит:

— Если я захочу, я тебя съем на глазах у людей.

Эвенк не сдаётся и тоже говорит:

— А если я захочу, я тебя съем сейчас же, никто и заметить не успеет.

И так каждый день.

Наконец-то шаманам надоело спорить и хвастаться.

Энец сказал:

— Так жить дальше нельзя. Нам обоим надо улететь в край, где линяют гуси. Там наберемся сил, а когда вернемся назад, то и выясним, кто из нас сильнее.

Затем энец, обращаясь к жене, сказал:

— Жена, я теперь полечу в гусиный край. Когда наступит весна, и гуси начнут прилетать на север, ты поставь для меня чистый, шаманский чум. Когда я прилечу, я поселюсь в этом чуме.

Жена сказала:

— Если прилетишь живой, я, конечно, поставлю.

Теперь сказка ушла к эвенкийскому шаману. Он тоже говорит жене:

— Мы, оба шамана, полетим к гусям. На этой земле жить больше не можем, никак не уживаемся, все время спорим друг с другом.

Прошло несколько дней, и вот однажды жена энецкого шамана заметила, что ее муж неожиданно превратился в лебедя и, поднявшись через дымовое отверстие чума, стал летать.

Шаман-лебедь, подлетев к чуму другого шамана, крикнул:

— Эй, собирайся! Я уже полетел в край гусей!

В это время эвенкийский шаман превратился в гагару и тоже поднялся в воздух. Он крикнул:

— Если прилечу обратно, поставьте мне отдельный чум!

Потом оба шамана улетели в гусиный край. Там, оказывается, гусей много-премного. Все они сидят на большой воде. Лебедь и гагара присоединились к ним.

Лебедь сказал:

— Теперь мы оба здесь будем линять так же, как и остальные птицы.

Лебедь стал линять среди других лебедей, а гагара — среди гагар. Те, оказывается, плавают туда-сюда, рыбу

ловят. Некоторые гагары уже и в сети попали. Эти сети поставили, наверное, какие-то небесные люди.

Лебедь же, как начал линять, так совсем исхудал. Крылья облезли, он еле двигается. В каком-то месте он встретился с гагарой. Та говорит:

— Ну что, будешь ли еще хвастаться? Сколько раз ты говорил, что съешь меня?

Лебедь ответил:

— Видишь ли, теперь мое оперенье спало, я плохо выгляжу, все время мерзну. А у тебя оперенье крепкое, ты купаешься в воде. Но смотри, остерегайся! Если попадешь в небесные сети, так в этом краю навсегда и останешься.

Гагара сказала:

— Ты не беспокойся! Я сильнее тебя и в свой чум вернусь обязательно.

Однако, оказывается, гагара зря хвасталась. Она все-таки попала в выставленные сети. Лебедь же, хоть и долго замерзал, но постепенно отрастил себе новое оперенье, в крыльях почувствовал силу.

Прошло время, наступила весна, в тундре появились проталины. Вот тогда лебедь и прилетел обратно на север. Он подлетел к своему стойбищу и три раза облетел вокруг чума, крича по-лебединому.

Жена шамана выскочила на улицу из чума и, глядя на лебедя, радостно воскликнула:

— Оу, однако мой старик вернулся обратно! Я ему все приготовила: и чум, и шаманское одеяние, и бубен!

Вот лебедь опустил до верхушки чума и вошел во-внутрь, превращаясь в человека. Он тут же взял бубен и начал камлать.

Потом пришли жители стойбища и начали расспрашивать шамана:

— Как ты слетал в землю гусей? Почему ты вернулся, а товарища-то нет?

Шаман сказал:

— Мой товарищ попался в небесные сети. Не знаю, отпустят его или нет?

Услышав такие слова, люди засомневались:

— Если уж он попался в сети, то навряд ли вернется. Он же был гагарой, и его там наверняка убили.

Энецкий шаман сказал:

— Думаю, однако, он вернется. Гагара принадлежит к роду сильных птиц. Наверное, ее отпустят. Она вернется на землю в виде Она — железной птицы и у эвенков она будет считаться священной.

А вот я, энецкий шаман, оказался намного слабее эвенкийского. Я еле-еле вернулся обратно на землю, из последних сил выбивался. Теперь же я навсегда превращусь в лебедя. Мой лебединый рд будет кормить всех жителей тундры.

Так и случилось. Энецкий шаман превратился в лебедя, куда-то улетел, и больше никто его не видел.

Эвенкийского шамана тоже больше никто не видел, но, говорят, он где-то летает в виде железной птицы.

*Записано в п. Потапово в 1992 году.  
Сказитель Пальчин Николай Сергеевич,  
энец, родился в 1910 году.  
Проживает в п. Потапово. Пенсионер.*

*В 1990 году участвовал  
в I окружном фестивале  
национальных культур.*

## ДВОЕ МАРИНЧА

*(Ненецкая сказка)*

На какой-то земле живут двое Маринча. Жен у них нет, всего их двое. В течение всей жизни они охотятся на диких оленей. Головы добытых диких оленей они складывают с южной стороны чума.

Неизвестно, долго ли, коротко ли они так жили. Со временем промысел оскудел, и Маринча перестали охотиться. Если и ходят на охоту, то возвращаются без добычи. Хотя головы диких оленей и заготовили впрок, но всех их мухи давно поели. Чем им питаться? Голодными стали ложиться спать. И вот однажды Старший Маринча обратился к Младшему:

— Младший Маринча, ты все-таки еще молодой. Если мы будем здесь жить, то, кажется, умрем. Который раз мы с тобой ложимся спать голодными. Может быть, ты найдешь место, где жизнь получше. Если найдешь такое место, то и меня не забудь.

Младший Маринча надел свою одежку и пошел в направлении движения солнца. По дороге, когда наступает вечер, он ложился спать на землю, положив рукав под голову. Утром опять встает и снова идет. Вот уже истекло полмесяца и месяц. Впереди он увидел семь чумов. Средний чум оказался приметным. Младший Маринча обошел чум справа и вошел в него с южной стороны.

В чуме две половины. На постели одной половины лежит лохматая рыжая собака. Войдя в чум, Младший Маринча сел на постель другой половины. В чуме напротив входа сидит пестрая собачонка. Она вскочила на ноги, разожгла огонь, повесила чайник. За очагом на ящике была поставлена чаша на ножке. Пестрая собачонка схватила зубами за ножку, вынесла на улицу и наполнила варкой. Затем положила за очагом. Когда вскипел чай, она схватила зубами чайник за ручку и поставила на столик. Сюда же положила разные кушанья. Положила ту же порсу, словом, на столике есть все. Младший Маринча тем временем думает: "Как же я теперь буду есть еду, приготовленную собакой?" Он толкнул столик от себя так, что половина еды вывалилась на очаг. Половина — осталась на столике. Пестрая собачонка собрала все оставшееся и положила обратно в очаг.

Младший Маринча выскочил на улицу. Он думает: "Раньше, прежде чем войти в чум, я, кажется, забыл сходить по нужде. Он пошел и сел в яму, выбитую оленями. Вдруг из семи чумов выскочили собаки, а Маринча, испугавшись, упал на четвереньки. Не думайте, что собаки съели какую-то его часть, они съели все и гости обглодали. Он так и застыл в обглоданном состоянии.

Сказка пошла к Старшему Маринча. Он сидит и думает: "Мой брат, наверное, нашел хорошую жизнь. Ну а я, похоже, умру от голода. Я, пожалуй, тоже пойду. Если по дороге умру, так, наверное, того и надо".

Старший Маринча также идет полмесяца. По вечерам, уставши, ложится спать, положив рукав под голову. Утром встает и снова идет. Прошло полмесяца и целый месяц. Как и тот раз, перед ним появилось семь чумов. Он

подошел к чумам со стороны, противоположной входу. Входы в чумы оказались с южной стороны. Средний чум был чем-то приметным. Старший Маринча в него и вошел. Перед входом он взглянул на яму, выкопанную оленями, и подумал: "Вот где мой брат. Это, наверное, его останки. Небось, сам провинился. Наверное, сам дураком оказался".

Вот Старший Маринча вошел в чум. На краю постели лежит рыжая лохматая собака. За очагом та же пестрая собачонка. Она вскочила на ноги, разожгла огонь и стала варить чай.

Потом послышалось, как со стороны очага едут на оленях. Может быть, едут настоящие люди. Старший Маринча вышел из чума посмотреть. Он глядит в ту сторону, откуда сам пришел. Едут трое. Черная собака едет, погоняя четырех оленей. На нартах черная собака везет одного оленя. Он, оказывается, добыл дикого оленя. За ним едет собака белой масти с короткой шерстью. За ней — собака с пестрыми лапами. Каждая из них держит по три оленя. Увидев все это, Старший Маринча вошел обратно в чум. Мол, они и сами приедут.

На улице слышна возня, видимо, дикого оленя привезли неразделанного. Теперь, кажется, вспороли желудок, разделяют. Закончив разделку туши, они, кажется, стали укладывать мясо для остывания.

Пестрая собачонка, сидевшая до того за очагом, взяла в зубы чашу и вынесла на улицу. Для еды в сыром виде она положила печень, наполнила чашу мясом и кровью. Потом она взяла чашу в зубы и положила на ящик за очаг. А те собаки, кажется, привели нарты в порядок, а мясо уложили на остывание. Черный алто первым вошел в чум, стряхнул снег с ног и прошел на свое место, рядом с рыжей собакой. За ним зашла собака белой масти. Она стряхнула снег и села за очаг. Пестрая же собачонка вышла на улицу и принялась отряхивать собаку с пестрыми лапами. Затем она вдвоем вошли в чум и сели рядом.

Пестрая собачонка взяла зубами за край столика и поставила его перед собаками. Сначала все поели сырого мяса. Затем собачонка положила на столик разные блюда. Попили чаю, каждый ел, что хотел. Все едят за одним столом. После ужина пестрая собачонка убрала столик, вытерла и уложила посуду.

Настал вечер, стемнело. Жители чума, похоже, укладываются спать. Некоторые вышли погулять на улицу. Затем пошел проветриться и сам Старший Маринча. После этого он вошел в чум, сел на прежнее место и, откинувшись назад, улегся спать. Остальные тоже уснули.

Трудно сказать, спал ли Старший Маринча. Под утро, однако, он вздремнул. Он же, идя пешком, уставал да и голодным ходил. В чуме тепло. Кажется, пестрая собачонка уже давно развела огонь и сварила еду. Жители чума проснулись, начали подниматься. Они пошли прогуляться. Старший Маринча тоже. Потом поставили столик и все сидящие за ним, поели. Уже почти заканчивали есть, как черная собака с длинной шерстью, сидевшая возле дверей, заговорила человеческим языком.

— Старший Маринча, твой брат сам провинился. Ты теперь, спасаясь от смерти, пришел искать себе хорошую жизнь. Теперь дадим тебе жену, дадим чум, нарты. Я дам тебе оленей. Я привяжу к твоей грузовой нарте важенку, мать оленей. Запряженные мною олени доведут вас дво-



их до вашего чума, как бы далеко он ни был. На всем расстоянии они не выбьются из сил. Я прошу вас не становиться чумом в любом месте. Я все сказал. Ловить нам оленей не надо, их есть кому ловить. Они поймают оленей, соберут, приготовят твой аргиш и нарты. Оленей мне ловить не надо.

Слышно, как на улице ловят оленей. Закончив, они зашли в чум вместе с белой собакой. Слышно также, что на улице как будто вытряхивают снег. Наверное, пестрая собачонка чистит от снега шерсть собаки с пестрыми лапами. Последняя вошла в чум и села рядом с белой собакой. Затем в чум вошла и прежняя пестрая собачонка. Теперь она женщина-красавица — глаз не оторвать. Она одета в пеструю парку. Лицо у нее красивее луны в полнолуние. Женщина села возле своего суженого.

Потом принялись пить чай перед дорогой. Сидят, чаюют. Черный пес с длинной шерстью опять заговорил:

— Старший Маринча, хорошо ли ты помнишь, что я тебе сказал? У твоей грузовой нарты с левой стороны привязана важенка. Не торопитесь забивать ее на мясо. Для еды себе забудьте какого-нибудь оленя из аргиша. Пожалуйста, не становитесь чумом по своему усмотрению. Хоть месяц аргишите, но мною запряженные олени не выбьются из сил. Вот и все. Думаю, я дал тебе хорошее наставление.

После еды вышли на улицу. Легковая нарта для прокладки дороги у Старшего Маринча оказалась со спинкой. У жены есть и грузовые нарты, и нарты для перевозки постели и одежды, и нарта, груженная мягкими вещами, одеждой, продуктами. К грузовым нартам действительно привязана важенка, та самая, о которой говорил черный пес с длинной шерстью.

Старший Маринча с женой тронулись в путь. Едут, едут, и настал вечер. С наступлением темноты они еще немного аргишат. Женщина приотстала, она же за собой везет грузовые нарты. Старший Маринча остановился и сидит, откинувшись на спинку нарты. Подъехала жена. Она несколько раз толкнула в плечо своего мужа. Сказала:

— Ведь твой дедушка сказал: не становись чумом, где вздумается.

А он не слушает. Она толкнула его еще раз в плечо, Старший Маринча как будто не слышит. Потом он проговорил:

— Нарты у меня все переворачиваются, попадая в ямы, выбитые оленями. Пусть мои олени пока отдыхают.

Когда созвездие Большой Медведицы переместилось по небосводу, Старший Маринча кончил отдыхать. Он повел свою нарту вперед. Увидев нарты, упавшие в ямы, он сказал:

— Наверное, постромки оборвутся.

Он проехал вперед, женщина тоже проехала с аргишем вперед, но ни одна постромка не оборвалась. Женщина сказала:

— Вот видишь, кажется, все хорошо.

Старший Маринча поехал вперед. Сколько-то времени он едет, прокладывая аргишу дорогу. Его жена опять приотстала. Затем Старший Маринча стал искать подходящее место для чума. Он воткнул хорей в снег и сказал:

— Оу, здесь, кажется, ровное место. Жена, заворачивай сюда аргиш!

Его жена заговорила:

— Ведь твой дедушка сказал: не становись чумом, где попало.

Старший Маринча повторил:

— Я же сказал, сюда поворачивай аргиш!

Она так и сделала. Вдвоем поставили чум. Женщина постелила постель, сварила еду в котле. Он же работает на улице: сделал завалинку вокруг чума, затем собрал упряжь у всех нарт. Выбил снег из сокуя и спрятал его под шкуры для сидения. Вот Старший Маринча вошел в чум. Прежняя пестрая собачонка теперь женщина в пестрой парке. Красивая — глаза не нарадуются. Она уже сварила еду. Сели кушать за один столик. Затем сходили на улицу и вскоре улеглись спать. Старший Маринча лег спать под телячью парку, подаренную дедушкой, согреваясь теплом женского тела. Он погрузился в глубокий сон.

В полночь Старший Маринча проснулся и думает: "Мне раньше так было тепло, когда я спал в объятиях жены. Теперь я, кажется, нахожусь в той же одежке, в какой тогда отправлялся из своего чума".

Спать не хочется. Еще не рассвело. Потом он встал и вышел наружу. Сначала он пытается найти сам чум. Он призадумался: "А где же то место, где я поставил чум? Здесь должно быть пастбище моих оленей". Но он не находит никакого пастбища. Пока ходил туда-сюда, настал день. Кругом голая земля. Нет ни чумовища, ни пастбища. Старший Маринча снова призадумался: "Я опять в той старой одежде, в которой тогда отправлялся в дорогу из своего чума. Я совсем испортил дело. Опять пошел бы по прежней дороге, но они сделают со мной то же, что и с братом. Я сам во всем виноват. Теперь, должно быть, пойду в свой чумик".

Старший Маринча пошел пешком в свой чум. Конечно, дошел до него. Он вошел в свой чумик и лег, а потом и умер с голоду.

*Записана от Яптуне Очавка Юйновича  
(п. Носок, 1993 год).*

*Яптуне О. Ю., ненец, родился в 1922 году  
в низовьях Енисея.*

*Участник I окружного фестиваля  
"Фольклорная классика Таймыра" (1994 г.).*

## Оксана ДОБЖАНСКАЯ

*Добжанская Оксана Эдуардовна родилась в 1967 году. По специальности этномузыковед, закончила Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки и при ней аспирантуру. С 1989 года занимается изучением музыкального фольклора народов Таймыра. В качестве литератора публикуется впервые.*

### КАХЫ ЛУ

(Нганасанская сказка)

Живет на свете Кахы лу. Имя дали ему такое потому, что парка его сшита из куропатки. Сидит Кахы лу у себя в чуме, никуда не выходит. Вот проголодался он, и только подумал: "Хорошо бы поесть!" — тотчас перед ним появился столик с кушаньями, чай. Наелся Кахы лу оленьего мяса, напился чаю и думает: "Я, наверное, необычный, неземной человек. Пойду-ка по свету, погуляю, на других людей погляжу". Надел лыжи и отправился он в путь.

Идет он несколько дней, и встретил в пути двоих дерущихся. Один из них раздетый, без парки, другой — в парке из сыромятной кожи. Густой пар исходит от борющихся тел, крепко они обхватили друг друга, и никто победить не может. Но видно, что раздетый человек более слабый, и вот-вот одолеет его противник. Решил Кахы лу помочь слабому, схватил за ноги его соперника и повалил его. Победитель быстро придавил упавшего коленом, достал нож и в один миг отсек ему голову. Потом, также быстро сняв с поверженного скальп, протянул его Кахы лу: "Возьми эту шкуру в награду за твою помощь. Это вещь не простая, а волшебная: если наденешь ее — в тот же миг станешь невидимым".

Взял Кахы лу подарок, надел на голову, стал невидимкой, подумал: "Хочу летать по небу, как птица", — и полетел. Летел-летел и увидел вдали большой чум. Приблизился, спустился на землю и вошел. Видит — в чуме сидит красивая девушка и выделявает камусы. Кахы лу обратился к девушке, хотел расспросить, кто она — но она его не видит и не слышит. Испугалась девушка, вздрогнула оттого, что громко затрещал огонь в очаге: "К чему это огонь трещит, не к несчастью ли?"

Приехал с охоты ее брат Нпосятала, и сестра говорит ему: "Огонь вспыхивает и трещит все время. Я боюсь, уж не к плохому ли?"

Кахы лу снова пробует в разговор вступить, спрашивает: "Как поохотился, много ли добычи привез?" Но вновь его слов не слышно, только очаг зловеще вспыхивает и трещит.

Испугались брат с сестрой, решили принести оленя в жертву духу огня и откочевать побыстрее в другое место, пока беды не случилось. Кахы лу уговаривает их: "Не пугайтесь, не убивайте оленей", — но еще пуше огонь затрещал, и утвердились брат с сестрой в своем решении откочевать с этого места. Приготовила сестра мясо, пое-

ли они, чаю попили. Кахы лу тоже с ними за стол сел, свежим мясом подкрепился.

Утром Нпосятала забил жертвенного оленя, а сестра разобрала чум, уложила домашнюю утварь в нарты. Откочевал их аргиш с этого опасного места, и невидимка Кахы лу вместе с ними. На расстоянии дня пути снова поставили чум, решили зажить на новом месте. Кахы лу думает: "Может, из-за шкуры моей волшебной они меня не видели? Сниму-ка я ее и пойду к ним!" Сказано-сделано, вошел он в чум.

Брат с сестрой приветливо встретили гостя, угощают его чаем.

— А раньше вы меня не видели? — спрашивает Кахы лу.

— Нет.

— Ведь это я вчера, невидимый, с вами разговаривал, а вы все думали, что это огонь трещит. Зря ты оленя убивал, не нужно было эту жертву приносить. Нпосятала сокрушается:

— Да, зря убил. Немного оленей теперь у нас осталось, бедняками стали.

Когда Кахы лу вышел из чума, брат с сестрой начал советовать: "Не простой это человек. Выходи за него замуж, а я, чтоб не мешать вам, уеду пока".

Уехал брат. Живет Кахы лу теперь с женой, охотится, добычи много приносит. Богато зажили. В скором времени Нпосятала возвратился, и стали жить все вместе, в одном чуме. Решил Кахы лу отблагодарить шурина за то, что отдал ему в жены свою сестру. Решил найти для него жену.

Как-то ночью встал он украдкой с постели, оделся, надел на голову волшебную шкуру и сказал: "Неси меня в стойбище Марутала — богатых береговых жителей". Полетел быстрее стрелы, и через мгновение достиг стойбища. Видит — собралась жителями стойбища в путь, длинный аргиш составили, откочевывают со старого места. Трое мужчин едут впереди, а позади на женской нарте — девушка. Кахы лу сел на сани к переднему мужчине. Тот его не видит, только жалуется себе: "Ох, что-то бок заболел". Заговорил с ним Кахы лу, тот не слышит: "Ох, что-то сердце сжало!"

Остановился аргиш на отдых, сделали чум, заночевали. Кахы лу подсел к девушке и просит: "Дай мне чего-нибудь поесть!". Та не слышит, удивляется: "Почему у нас огонь затрещал в очаге, а у меня голова заболела?". Кахы лу прикоснулся рукой к ее волосам с заплетенными в косы подвесками, ее железным украшением на груди: "Как красиво!", а девушка почувствовала вдруг невыносимую головную боль и тут же умерла. Опечалились ее родственники, удивились неожиданной кончине. Похоронили ее с надлежащими обрядами, забили упряжных оленей, оставили у захоронения целый аргиш с вещами девушки. Отъехали затем родственники, а Кахы лу остался рядом с ней.

Подошел Кахы лу к убитому оленю задел его ногой — и ожил олень, встал на ноги. Всех оленей оживил он, взял рукой переднего за уздечку и полетел в свое стойбище, а за ним весь аргиш. Прилетел в стойбище, а там еще спят. Тихонько распряг и отпустил он оленей, а девушку занес в чум и положил на постель к шурина. После всего сделанного в свою постель юркнул и спящим притворился. Вытянул руку из-под одеяла и погладил по воло-

сам привезенную им девушку. Та сразу же проснулась, глаза открыла и увидела лежащего с ней рядом мужчину. Удивилась и спрашивает: "Ты что, тоже умер? Мы, наверное, в мире мертвых?" Тот смеется: "Да живой я, и ты жива не меньше меня!"

Вместе стали жить Нпосятала с привезенной к нему девушкой, поженились. Теперь два чума рядом стоят, и две семьи в них живут — Кахы лу со своей женой, и шурин с его женой. Прошло два года, у Кахы лу родились сын и дочь.

Однажды неподалеку проезжал аргиш семейства Марутала. Увидел старик Марутала два чума и стоящих возле одного из них знакомых оленей, удивился: "Откуда взялись здесь олени его умершей дочери?". Вошел он в чум, видит — а дочь его здорова, жива и весела сидит, отца своего приветствует.

— Кто тебя оживил? — спросил отец.

— Не знаю. Проснулась я здесь, в этом чуме, и ничего не помню.

— Наверное, великий шаман или бог оживил тебя. Этот Кахы лу — не простой человек. Остановимся мы рядом с вами и будем жить одним стойбищем.

Все вместе стали жить. Как-то все мужчины отправились на охоту, в стойбище остался только Нпосятала. Думает он: "Почему этому Кахы лу все удается, откуда у него волшебные силы? Наверное, что-то ему помогает". Решил он тайком посмотреть священные вещи Кахы лу, раскрыл его священную нарту, смотрит — а там шкура с головы человека лежит. Решил он надеть ее, чтоб на себе испробовать волшебство. Надел, зашел в чум к жене, заговорил с нею — но не видит и не слышит его жена, пугается оттого, что огонь громко трещит. Еле живая от страха побежала она в чум к соседям и притаилась у них. Когда возвратились охотники, она им все рассказала. Заподозрил неладное Кахы лу и говорит: "Пойду проверю я своих идолов, не трогал ли кто их". Подошел к священной нарте, раскрыл ее и видит — волшебная шкура исчезла. Зашел он в чум шурина, ищет его, но нет нигде человека, только кости его, разобранные по суставам, лежат на постели. Искал-искал волшебную шкуру, но не нашел ее.

Обиделся Кахы лу на своих родственников: "Из-за любопытства вашего потерял я свою волшебную шкуру. Почему вы такие плохие люди? Неужели мало добра для вас я сделал, чтобы злом мне за все отплатить? Уйду я от вас, возвращусь на родину. А вы живите, как хотите". Сказал это и хотел было уходить, но заговорил старик Марутала и попросил оживить своего неразумного зятя Нпосятала.

Кахы лу взял бубен, нагрел его над очагом и стал петь-шаманить. Потом сказал: "Приведите мне оленя". Когда оленя привели, задушил его, освежевал, вынул кости и разобрал их по суставам. Затем смешал с костями несчастливому своему шурина и бросил в костер. Когда все кости сгорели, Кахы лу выгреб золу положил ее в деревянный сосуд, добавил немного воды и стал месить. Замесил тесто и вылепил из него человека, три раза хлопнул в ладоши — и ожил Нпосятала!

Выполнив просьбу Марутала, заговорил Кахы лу: "Ухожу я от вас, жену и детей с собой возьму. Оставайтесь здесь, живите счастливо. Удачу охотничью вам оставляю, чтоб не бедствовали и род ваш не прекращался".

Взял бубен и начал шаманить... Вдруг, откуда ни возьмись, прилетело множество куропаток, закрыли своими крыльями Кахы лу и его семью и вместе с ними поднялись на небо. Какое-то время еще было видно это облако из куропаток, но потом оно исчезло, растворилось в огромном небе.

Так побывал на земле под именем Кахы лу нганасанский бог.

*Записано в пос. Волочанка, 1990  
Сказитель Кокаре Караре Хичептеевич,  
нганасанин.*

*Родился в 1928 году, живет в п. Волочанка.  
Знает эпические сказания СИТАБЫ,  
предания ДЮРЫМЫ.*

## ДВА БРАТА

*(Долганская сказка)*

В одном стойбище жили два брата. Жили дружно, хорошо, вместе охотились, и добычи всегда было вдоволь. Старший брат был давно женат, но детей у них с женой не было. Очень печалился он поэтому и заботился о младшем брате, как о сыне родном. Шло время, начал старший брат стареть, и седые нити появились в его черных волосах. Позвал он как-то младшего брата и говорит ему:

— Мы с женой уже состарились, скоро умрем. Как ты будешь жить после нашей смерти, как выживешь в одиночку? Нужно тебе жениться.

Младший отвечает:

— Мы живем здесь одни, не знаем других людей. Как я найду себе жену, если даже не знаю, куда за ней отправляться?

— Ничего, я тебе помогу. Поедем в сторону восхода солнца, там живет предназначенная тебе невеста.

Собрались они и на другой день отправились в долгий путь. Пока ехали, дважды зима сменяла лето. Полтора года в пути прошло.

Однажды впереди, на берегу замерзшего озера, увидели дом. Подъехали ближе, вошли, видят — в доме живут старик со старухой, а вместе с ними трое сыновей и единственная дочь. Хозяйева приветливо встретили гостей, приготовили обильное угощение, покормили. После того как гости насытились и отдохнули с дороги, завязалась неторопливая беседа.

— Кто вы, откуда родом? — спросил старик-хозяин.

— Едем мы в поисках невесты для моего брата, — ответил старший брат. — Ищем стариков, у которых трое сыновей и дочь, ему в невесты предназначенная. Давно мы в пути, но, кроме зверей да птиц, никого в тундре не встретили.

— Да и мы едем к двум братьям! — обрадовался старик. — Младший из братьев не женат, вот мы и хотим выдать за него замуж нашу дочь. Здесь, на берегу озера, остановились отдохнуть от долгого пути. Наверное, сами боги послали вас нам навстречу!

Все обрадовались долгожданной встрече. Оказывалось, две семьи навстречу друг другу ехали, чтобы породниться. Тут же и о свадьбе договорились, сыграют ее на третий день, в доме невесты.



Прошло три дня, пришло время свадьбы. Младший брат радуется: до чего красива и умна его жена! Богатое приданое дали невесте — целый аргиш, запряженный лучшими оленями, нагруженный волчьими шкурами, песчовыми одеялами, узорчатой праздничной одеждой, домашней утварью. Собрались было братья ехать обратно, в родное стойбище, но тесть не дает согласия: “Отправлю я к вам свою любимую дочь, отраду моей старости, только после будущего лета, когда первый снег покроет землю”. Младший брат, хоть и опечалился, но из уважения к новым родственникам согласился и ничего не сказал. Остался он жить в доме тестя вместе с молодой женой, а старший брат один отправился в обратный путь.

В доме тестя живут хорошо, богато. Каждый день мясо, жир едят. Младший брат, сметливый и наблюдательный, все примечает. Однажды увидел, как жена его что-то рубит топором. Подкрался поближе, пригляделся и видит — она разрубает на части маленьких человечков, а потом складывает их в котел и ставит на огонь варить. Испугался младший брат, понял он, что попал в семью людоедов. С тех пор стал младший брат голодать, к еде почти не притрагивается — не может он есть человеческое мясо.

Идет время. Однажды утром старик сделал луки, стрелы и отправил сыновей и зятя на охоту. Сыновья на нартах, запряженных самыми быстрыми оленями, поехали, а младший брат пешком, на лыжах пошел. Быстро идет он, не отстает от нарт. Долго ехали они в поисках добычи, пока не заметили оленей — важенку с теленком. Устроили за ними погоню, стали нагонять, вот-вот приблизятся на выстрел из лука. Вдруг младший брат разглядел, что это не олени бегут, а женщина с ребенком. Сыновья старика стали стрелять в женщину из луков, а она побежала в сторону младшего брата и просит его: “Не стреляй, отпусти нас!”. Опустил лук младший брат, женщина с сыном пробежали мимо него и скрылись за сопкой. Пришлось охотникам возвращаться домой с пустыми руками.

— Где ваша добыча, что принесли? — строго спросил старик-тесть.

Сыновья его рассказали о поступке зятя, и старик рассердился на младшего брата. Но ничего не сказал он, только глаза грозно засверкали от гнева.

Наступила весна. Однажды утром старик смастерил своим сыновьям и зятю рыболовные крючки и отправил их рыбачить. Пришли они на озеро, начали ловить. У сыновей старика много рыбы ловится, а у младшего брата вовсе нет. Вдруг крупная рыбина затрепетала у него на крючке, вытащил ее младший брат и видит — это не рыба, а седой старичок на крючок попался. Старик стал молить: “Ничего злого не делал я в своей жизни. Отпусти меня, не дай погибнуть у людоедов!” Сжалился младший брат над старичком и отпустил его. Закончили рыбачить, сравнили улов и видят — сыновья старика наловили много рыбы, а у зятя их ни одной рыбешки нет. Рассердились на него братья, пригрозили, что все расскажут своему отцу. Снова разгневался старик-тесть, но опять промолчал.

Наступило лето, за ним осень вдогонку спешит. Выпал первый снег, укрыл землю плотным покровом. Старик-тесть не отпускает дочь вместе с зятем, будто забыл свое обещание. Пригорюнился младший брат, надоела ему чужбина, но не знает он, что делать. Жена его почув-

ствовала, что с мужем что-то неладное творится, и говорит ему однажды:

— Сделай мне лыжи, я пойду в тундру.

Исполнил он ее просьбу, жена ушла куда-то, а когда вернулась, весь вечер и всю ночь шаманила у костра. Утром муж спрашивает ее:

— Что видела ты, когда шаманила?

— Твою дорогу. Должен ты уйти отсюда, если хочешь живым остаться. Поедешь домой ты, долго-долго будешь в пути, а потом упадешь и уснешь. Проснувшись, снова поедешь дальше. Если не будешь больше останавливаться, если сократишь себе путь — до дома своего цел и невредим доберешься. Вот что видела я в моем камлании.

На следующий день, слушаясь предсказания жены-шаманки, уехал младший брат в свою страну. Долго ехал он без остановки, наступила полярная ночь, потом снова солнце появилось — младший брат все оленей погоняет. Вдруг видит — на пути его дом. Остановил он оленей, спрыгнул с санок и вошел внутрь. Видит — там сидят старик со старухой, и с ними дочь. Присел младший брат у очага и почувствовал вдруг смертельную усталость, глаза его закрылись, и заснул он крепким сном. Долго спал, целый месяц прошел. Проснулся, поел и снова заснул. Так прожил он в гостях у стариков довольно долго. Наконец силы вернулись к нему, и встал младший брат. Старик спрашивает у него:

— Кто ты, откуда пришел к нам?

Младший брат рассказал свою историю о том, как отправился искать невесту, а потом целый год жил у людоедов. Все удивились, не поверили, что ему удалось живым оттуда уйти. Старик со старухой, посоветовавшись, выдали свою дочь замуж за гостя, дали ей свадебный аргиш и отправили молодых в страну мужа.

Едут молодые долго, много месяцев. Снова наступила полярная ночь. Младший брат устал, захотел остановиться и отдохнуть:

— Спать уж больно хочется, давай остановимся на ночлег.

Жена его отговаривает:

— Совсем недолго ехать нам осталось, потерпи, и дома отдохнешь.

Но не слушается ее муж, останавливает оленей на отдых, и ложатся они спать.

Забыл младший брат предсказания своей первой жены-шаманки и поплатился за это. Ночью напала на них, спящих, его первая жена и увела младшего брата с собой. Только вихрь закружился в том месте, где исчезли они.

Горько заплакала вторая жена младшего брата, собралась в путь и поехала в одиночестве. Добравшись до стойбища старшего брата, рассказала ему о злосчастной их участи. Долго горевали родные о судьбе младшего брата, не исполнившего предсказания и поплатившегося за это жизнью.

*Записано в пос. Волочанка, 1990 г.*

*Сказитель Аксенов Андрон Анастасьевич, долганин.*

*Родился в 1910 году в Авамской тундре.*

*Знал долганские сказки ОЛОНКО.*

*Умер в 1994 году.*

## Юрий БАРИЕВ

Коренной норильчанин, родился в 1948 году.

Закончил Литературный институт

им. А. М. Горького. Автор трех поэтических книг "Северная почта", "Очертания ветра", "Морозные метаморфозы". Член Союза писателей России.

Живет в Норильске.

*Перевод сделан удачно.  
Он передает дух памятника,  
его разнообразную ритмику  
и не содержит никаких спорных  
толкований. Перевод следует печатать.*

Академик Д. Лихачев.  
22.02.84 г.

### ЧИТАЯ "СЛОВО..."

(Письма о переводе "Слова о полку Игореве")

#### I.

"Слово о полку Игореве" было единственным произведением не только в древнерусской литературе того времени, призывающим не нарушать социальную экологию, к которой приводит ведение неправедных войн, войн с захватнической целью. В этом отношении это уникальное произведение в мировой литературе.

Все произведение пронизано пацифистским пафосом, до сих пор не замеченным ни одним переводчиком, ни одним специалистом по древнерусской литературе.

Да, "Слово о полку Игореве" явилось гениальным провидческим произведением, призывающим русских князей к единению перед лицом грядущей приближающейся опасности.

Но все же главной идеей "Слова..." был призыв к мирному сосуществованию пограничных народов.

Работа над переводом была для меня и мучительно трудной, и радостной. Почти каждая строка имела по несколько вариантов. Работа над переводом продолжалась почти три года.

Большую помощь своими консультациями и советами мне оказывал Марк Борисович Хасдан.

Любой художественный текст представляет собой систему, структурно организованную из взаимоотношений разных уровней текста (композиционный уровень, фонетический, синтаксический, интонационный, ритмический, уровень подтекста и т. п.).

И именно эти устойчивые связи внутри уровней и между уровнями и придают произведению характер константной структуры, что и позволяет исследователям с большой долей вероятности и достоверности восстанавливать утраченные куски художественного текста в результате полного структурного анализа.

Однако функционирование текста в социальной среде порождает тенденцию к его разделению на варианты. Даже зародившаяся письменность в свое время и полиграфическая техника печатания не уничтожила вариантности литературных текстов.

Возьмем хотя бы такой пример: играют два актера одну и ту же роль, по сути дела, произносят один и тот же текст, но в исполнении двух разных актеров они уже не

адекватны. Это происходит потому, что актеры играют разные характеры или играют разный подтекст. Так возникают разные варианты одного и того же текста на разных структурных уровнях (варианты интонационные, варианты на уровне подтекста). В свою очередь, каждый из вариантов уже сыгранного текста, взаимодействуя с историческим, с личным опытом, индивидуальным характером, эстетическим опытом зрителя рождает в его восприятии опять же новый вариант того же самого текста.

Поэтому нельзя канонизировать только одно какое-либо толкование текста. Ведь даже отдельное слово в зависимости от интонации может приобретать совершенно противоположное значение. Вот простейший пример тому: слово "правда", произнесенное с оттенком иронии, может приобретать значение, равнозначное по смыслу утверждению "ложь". Кроме того, и сами слова по природе своей многозначны.

То же самое происходит и при выявлении иного варианта на уровне подтекста. Например, можно углядеть в рассуждениях автора "Слова..." о стиле, каким следовало бы начать свое повествование об Игоре походе, иронию по отношению к стилю легендарного Бояна и не согласиться с авторитетным утверждением, что уж автор-то "Слова..." знал, что наилучшим будет начать, следуя традициям Бояна, старинным слогом, а согласиться с замечаниями А. С. Пушкина, углядевшего иронию автора по отношению к Бояну, и согласиться с его утверждением, что эвфоническая частица "ли" не всегда придавала оттенок вопросительности предложению. Но в этом случае в переводе начало "Слова о полку Игореве" будет иметь уже совершенно иное толкование, чем мы привыкли читать в существующих переводах. Несовпадение толкований отдельных мест в моем переводе с существующими и возникло в результате иного прочтения подтекста.

Даже если будет обнаружен список протографа "Слова о полку Игореве", то он не сможет отменить или предостеречь различия, в свою очередь, существования разных вариантов толкования текста. Единственно, в чем он различные мнения приведет к общему знаменателю — это споры о композиции текста.

За основу композиции, хотя и не в полном ее объеме, я взял реконструкцию протографа Марком Борисовичем Хасданом.

В своем переводе я не пытался сохранить или восстановить стихотворный размер подлинника. Я считаю, что возникновение художественного языка, его обособления от естественного языка первоначально происходило на уровне поэтической речи. Ее лишь условно можно называть стихотворной речью. И уже из поэтической речи происходило развитие и отделение прозаического художественного языка.

"Слово о полку Игореве" возникло на стыке традиций — письменной, устного народного творчества и музыкального исполнения стихов.

Принцип построения поэтической речи в "Слове о полку Игореве" основан не на рифменном ожидании, хотя в тексте представлено все разнообразие форм существования рифмы в современном ее значении.

Приведу только несколько примеров, так как прежде чем приступить к работе над переводом, мне пришлось сделать структурный анализ на уровне фонетическом и уровне просодии текста, но это был не полный анализ, а попутный, то есть подсобный.

Аллитерационный стих с зеркальной рифмовкой согласных внутри строки (обращенный звуковой повтор),

который редко встречается даже в современном стихосложении:

"греМЛеШи о ШеЛоМы Мечи хараЛужНЫМи..." (М-Л-Ш — Ш-Л-М — М-Л-Ж).

Внутренняя рифма с обращенным звуковым повтором согласных и повтором эхом гласных внутри строки:

".....тьмОЮ

ВСя СВоя Воя прикрыты".

(В-С — С-В — В) и (ОЮ-Я-ОЯ-ОЯ).

Грамматическая диссонансная рифма:

"редко ратаеве КИКахуте,

но часто врани грАяхуте,

трупиа себе деляче,

а галици свою рече говОряхуте..."

Ассонансная рифма с послеледударной перестановкой согласных:

"крычато телегы полуношы,

рцы, лебеди роспушени".

Гипердактилическая рифма:

"...во злата стремене

за обиду сего времени..."

Богатая рифма, когда рифмуются почти все слова в строках:

"... коли сОколо во мЫтехо бывАето,

выСОко пТИцо возбивАето..."

Полная рифма, когда рифмуются целиком строки:

"...потопташа поганяя плоки половецкыя

.....

помчаша красныя девкы половецкыя..."

Здесь из 13 гласных второй строки — 12 совпадают с гласными первой строки и по 9 согласных из 16 в каждой строке, то есть из 29 букв второй строки 21 совпадает с предыдущей строкой.

Очень характерно для "Слова..." аллитерирование и рифмовка рядом стоящих в строке слов, повтор эхом гласных и повтор эхом согласных звуков:

"...ото железныхо ВелиКыХо ПЛоКоВо ПоЛоВецКы-Хо..."

"В мы уЖе, ДруЖиНа, ЖаДни веселия..."

"...подпеРО ГОРЫ уГОРскыи..."

"ДнЕпрЕ тЕмнЕ бЕрЕзЕ..."

"...на своиХо сРеБРеныхо БРеЗеХо..."

"СоРоКы не тРеСКоташа,

ПоЛоЗие ПолЗаша..."

Таких примеров можно приводить бесчисленное множество.

"Слово о полку Игореве", очевидно, исполнялось в музыкальном сопровождении, и существующая аритмия в отдельных кусках текста, возможно, возникает в результате того, что мы не в состоянии восстановить долготу звучания той или иной гласной. Ведь любая из гласных могла звучать на два или более музыкальных тактов, как это и сохранилось в русских народных песнях.

Поэтому попытка восстановить или слепо следовать стихотворному размеру подлинника скорее нарушила бы поэтический строй произведения и усложнила его восприятие.

Иное дело — интонационный строй текста, звуковая организация стихотворной речи, энергия и раскат строк в тексте, их звукозапись. Они глубоко индивидуальны и разнообразны в каждом конкретном случае. Именно это я и пытался сохранить в своем переводе в меру своих возможностей и способностей.

## II.

В название третьей главки я поставил слово "Стычка". Ибо это был еще не бой, а именно стычка со случай-

ными либо дозорными отрядами. "Стычка" есть и в словаре Даля и в "Словаре XI — XVII в. в." в том же значении.

Хочу сказать несколько слов в защиту своего перевода.

Переводы Заболоцкого и Майкова являются не переводами, а поэтическими переложениями. К переводу же подходить с теми же критериями, как и к поэтическому переложению по мотивам памятника, нельзя. Это будет неверно. Автор переложения имеет значительно большую степень свободы в выборе изобразительных средств, переводчик же ограничен лексическим материалом самого памятника. Переложение можно судить, исходя из оригинального творчества самого автора переложения, а перевод такого памятника, как "Слово о полку Игореве", можно судить, исходя только из текста и в контексте самого оригинала.

Эти переложения, как и, к сожалению, большинство поэтических переводов "Слова...", не соответствуют современному состоянию прочтения текста и толкования историками событий, описанных в "Слове..."

В слововедении за последние годы произошли большие сдвиги в толковании "темных мест" памятника и в оценке событий, описанных в поэме, в оценке похода Игоря. Но все результаты этих исследований, все открытия, все гипотезы, догадки рассыпаны по публикациям в периодике и в узкоспециальной литературе и поэтому остаются за пределами внимания широкого круга читателей.

Все же существующие переводы, а особенно переводы, сделанные в последние годы, не отражают современного состояния слововедения.

За основу этих переводов берется общепринятое толкование текста, чаще всего это толкование текста Дмитрия Сергеевича Лихачева, и делается поэтическая обработка.

К сожалению, и сами специалисты не считаются с результатами исследований своих же коллег. Ибо и они разделены школами, течениями, традициями. Пример тому — непримиримое отношение друг к другу московской школы слововедения и ленинградской. Поэтому даже в научных, то есть дословных, переводах текста не могут прийти к единому мнению, хотя истина, вроде бы, в конкретном случае уже и установлена.

Приведу пример тому.

Читаем в тексте памятника: "...Игоря, иже истягну умь крепостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, напленився ратнаго духа, наведе своя храбряя плъки на землю Половецкую за землю Русскую". Ранее слово "истягну" переводили, как "скрепил", "укрепил", то есть "Игоря, который скрепил ум своею волей (стойкостью, мужеством, доблестью), наполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую". В последние годы исследователями доказано, что "истягнути" нельзя переводить, как "скрепил", и в "Словаре русского языка XI — XVII в. в.", т. 6 (изд. "Наука", 1979 г.) уже приведены значения слова "истягнути" — "вытянуть, протянуть, растянуть". И получается не "скрепил ум", а "растянул", то есть ослабил волею своею или же перетянул, то есть пересилил или обуздал. Как и перевел О. В. Творогов в серийном издании "Памятники литературы Древней Руси", издаваемом издательством "Художественная литература". Именно это и есть в данном случае точное и верное толкование слова. Но продолжают появляться издания, редактируемые и подготавливаемые другими специалистами, где по-прежнему "укрепляет свой ум волею". А ведь это уже и совсем



другая оценка и похода Игоря полка, и образа самого Игоря. И верной представляется мне оценка этого похода, даваемая и современными историками, и оценка, заключенная в толковании слова "истягнути", как "обуздал ум", потому что по сути, как мы уже знаем, эта же оценка похода есть и в "Золотом слове Святослава". Поход был политически недалековидным шагом князя Игоря, предприятием авантюрным, в поисках легкой наживы и славы, а не во славу земли Русской. Поход на землю Половецкую за землю Русскую, то есть за пределы земли Русской. Отсюда и возникает этот образ: они идут за землю Русскую и сначала земля Русская — уже за холмом, а впоследствии в самом тексте памятника вырывается возглас: "О Русская земля! Ты и не за холмом уже!", то есть они настолько далеко ушли, что и не за холмом уже. Все до единого, все переводчики решили пройти мимо этого возгласа в самом тексте памятника и переводили неверно. Потому что такое толкование не укладывалось в общепринятое. И это неверное толкование политического значения похода Игоря и образа самого Игоря присутствует во всех переводах.

Здесь я подошел к той части в своих заметках, где я хочу сказать: чем плохи предыдущие переводы, то есть почему они не могут удовлетворить нас и не могут соответствовать современному состоянию и слововедения, и исторической науки в оценке событий, описанных в "Слове...". Все поэтические переводы, еще раз повторяю, к сожалению, проходят и мимо замечаний А. С. Пушкина, и их никак не коснулась переоценка ценностей, произведенная современной историографией. Высказывая эти суждения, постараюсь хотя бы вкратце показать, чем мой перевод отличается в корне от всех существующих — отличается трактовкой и самого образа Игоря, и трактовкой значения этого похода. А кроме того, ни в одном из переводов ни разу не обращалось внимания на тюркизмы, отсюда и количество неточностей, не уменьшающееся с каждым новым переводом. На тюркизмы только в последнее время начали обращать внимание специалисты-тюркологи, и даже появились специальные работы как советских, так и зарубежных тюркологов, посвященные восточным элементам в лексике "Слова..." Мне же это близко в силу моих татарских корней по роду своему.

Кстати и Дмитрий Сергеевич Лихачев видел, что мой перевод отличается от трактовки существующих переводов, и поэтому-то он, очевидно, и написал, что перевод не содержит никаких спорных толкований, ибо за эти спорные толкования меня могли бы бить, как не имеющего ни имени, ни авторитета, как это поначалу и произошло. Так он встал на защиту этого перевода всего единственной фразой, хотя мое толкование и отличается от лихачевского. В разговоре он сказал, что перевод ему очень понравился. Понравился-то он ему, я думаю, именно своим художественным исполнением. Считаю свой перевод более художественно исполненным, нежели все переводы, появившиеся в последние годы: Карпунинский, Черновский, Морозовский и другие. Исключение составляет перевод Игоря Шкляревского, который в художественном отношении выполнен мастерски.

Итак, вступительная часть "Слова о полку Игореве"...

Вступление представляет широко распространенный в средние века у разных народов поэтический трактат о методах художественного творчества, в котором описывается старый метод художественного творчества, дается его оценка и критика, дается постановка новой задачи и описание нового метода в соответствии с поставленной задачей. Рассмотрим, какие же методы художественного творчества стали предметом обсуждения автора.

"Не льпо ли ны бяшетъ, братие, начати старыми словесы трудныхъ повѣстий о плъку Игоревь..." Все существующие переводы начинают "Слово..." "не пора ли нам, братья (не хорошо ли было бы) начать старыми словами (старым складом, то есть старым Бояновым слогом) ратные повести о полку Игореве". Но все исследователи и переводчики прошли мимо замечаний А. С. Пушкина, который сказал, что эвфоническая частица "ли" не всегда в русском языке придавала признак вопросительности предложению. И он же указал на явную иронию автора "Слова о полку Игореве" к стилю Бояна. Кто же таков Боян? И чем характерен его стиль?

Если мы примем во внимание замечание Пушкина, то начало не может быть переведено как "не пора ли?", так как здесь в самом тексте написано к тому же не просто "старым слогом" или "старыми словами", а именно "старыми словесами". То есть "словеса" уже имеют и несут в себе оценку иронического отношения автора к этим "словесам" и стилю самого Бояна.

Помня замечания Пушкина об эвфонической частице "ли", уже перевожу "не льпо ли" именно как "нелепо (негоже) было бы, братья, начинать старыми словесами", а не словами и тем более не слогом, потому что Боян — представитель иной традиции в творчестве, иного метода. Это традиция изустного воспевания подвигов князей, складывания им гимнов в застольях в музыкальном сопровождении, преувеличенного воспевания их заслуг. Много ведется споров о личности Бояна. В Древней Руси не было зафиксировано наличия в ходу такого имени, и наконец-то на стенах Софийского монастыря в Киеве отыскали небольшую запись, точнее, восстановили, в которой упоминается некий боярин Боян. Эта запись датируется примерно тем же периодом, что и само "Слово о полку Игореве". И тут же начали утверждать, что это именно тот самый Боян. У меня только в подъезде живут два Сергея, но я не берусь утверждать, что это именно они и являются авторами стихов Сергея Есенина, только потому, что они тоже Сергеи. А в данном случае так оно и получается.

Но обратимся к лексике тюркоязычных народов. Было бы прекрасно, если бы специалисты по "Слову о полку Игореве" сделали это еще в прошлом веке. Во многих тюркских языках до сего дня сохранилось слово "Боян" в значении "певец, бард, сказитель". Западногерманский тюрколог Менгес вспоминает, что первый среднеазиатский бард, которого он встретил в Южном Узбекистане, в Кашкадарьинской долине, принадлежал к племени катаган. Его звали Халбай, и носил он титул "Баян". Этим титулом называют рапсодов тамошних племен. В разных значениях это слово встречается у разных восточных народов: у монгол, у авар, у арабов и других. Но всегда это слово связано со значением "изложения", "певец", "могущественный", "имеющий власть над духами" и так далее.

Итак, здесь в "Слове о полку Игореве" идет критика не творческого метода одного конкретного певца Бояна, а творческого метода сложившейся традиции изустного воспевания боевых походов князей певцами — "Боянами". Хотя автором "Слова о полку Игореве" все представители этой традиции персонифицированы образом конкретного "Бояна", к которому он постоянно обращается, но это не значит, что именно этот Боян — историческое лицо, а не собирательный образ представителя традиции "Боянов".

Сам автор "Слова о полку Игореве" — представитель новой, народившейся традиции, книжной традиции поэтического творчества. Он и считает, что нельзя об этом

походе Игоря петь старыми словесами, то есть петь воспевая. Стоит иная задача и нужен иной творческий метод. Вот, пожалуй, все основные тезисы относительно вступления поэмы.

Приведу еще несколько примеров тюркизмов в тексте. Так князь Всеслав, имея вещую душу, то есть волшебную, до рассвета, обернувшись волком, "дорискаше до курь Тмутараканя", что все переводчики переводили "добегал до петухов Тмутараканя". А ведь даже в русском языке сохранился тюркский корень "кур" в словах курган, курень. "Кур" означает насыпь, стена или как глагол означает "строй", "воздвигай" (в повелительной форме).

Поэтому, конечно же, дорыскивал он не до куриц или петухов Тмутараканя, а до стен Тмутараканя.

Так же как и "буй турь" — это не буйный дикий бык, как в комментариях толкуют все без исключения специалисты в разных изданиях памятника, но и сегодня и в татарском языке, как и во многих других языках тюркской группы, "буй туре" означает в переводе "ростом могучий", "ростом прямой", "статный", то есть богатырь. Вот примерная трансформация этого слова из тюркского в русское: буй туре — боо тур — батыр, богатырь.

В другом же месте неузнанный переписчиком XVI века тюркизм "буй" в качестве эпитета к быку для усиления образа быка был переделан в более распространенный эпитет "яр тур". В данном случае, относительно князя Всеволода, "буй тур" является устойчивым словосочетанием. Но слово "буй" в тюркских языках встречается и в другом устойчивом словосочетании "аты буй", то есть "высокий ростом", что в свое время могло значить и "высокий положением", то есть "именитый". Вот где, я думаю, истоки всех эпитетов "буести" или буйности князей, к которым обращается в своем Золотом Слове князь Святослав. "Буи" могло существовать в таком значении и самостоятельно, а не в устойчивых словосочетаниях. Но этот тюркизм не был узнан ни одним исследователем-славянином до прочтения его казахом Олжасом Сулейменовым.

Так, будучи на Урале, я услышал от одного деревенского парня слово "бастыг". Так он назвал палку, которой крепили стог сена на телеге. Позже я обратился к "Словарю русских говоров Урала" и нашел там это слово. Оно обозначало шест, которым закрепляется сено. Но этимология его не была объяснена. Я думаю, составители этого словаря могли и не узнать его этимологию, так как это слово — тоже неузнанный тюркизм. Это слово встречается в двух вариантах "бастыг" и "бастрыг", означая тот же самый шест.

В тюркских языках есть глагол "бастыг", который в переводе означает "придавили", в данном случае, придавили сено. Так глагол тюркского происхождения передал свое значение в русское название шеста, которым это действие производилось.

Таких "невидимых тюркизмов", порою даже неузнанных и специалистами по лексике, великое множество.

Много их и в тексте "Слова о полку Игореве". Приведу еще один пример неузнанного тюркизма в русском языке, и не только в русском.

В книге Льва Успенского "Слово о словах. Почему не иначе?" пишется о слове "бекрень" ("набекрень"), что его происхождение темновато; вернее всего, связано с голландским "Bekrängen", морским термином, означающим "накреньять на борт", "креньговать". Но гораздо ранее это слово уже существовало в тюркских языках и сохранилось во многих из них в том же значении и по сегодняшний день. "Бек керен" — то есть "очень криво". Можно бесконечно говорить о тюркизмах и приводить

бесчисленное количество примеров. Но и приведенные примеры, я думаю, показывают отличие прочтения памятника в моем переводе от предыдущих переводов.

Вообще тюркизмы в русском языке — это тема для отдельного большого исследования, к которой, надеюсь, со временем я все же вернусь.

Кроме того, я ввел в текст своего перевода поэтическое переложение покаяния Игоря из летописной повести из Ипатьевской летописи, чего до меня ни один из переводчиков не делал. Академик Б. А. Рыбаков считает, что автором "Слова о полку Игореве" является летописатель Ипатьевской летописи боярин Петр Бориславич. И он же утверждает, что в летописной повести об Игоре в походе текст покаяния Игоря — наиболее литературная часть и, очевидно, имеет литературное происхождение. В. Ю. Франчук в сборнике "ТОДРЛ" "Слово о полку Игореве" и памятники древнерусской литературы" в своей статье "Мог ли Петр Бориславич создать "Слово о полку Игореве" сделал сопоставительный анализ языка "Слова о полку Игореве" и предполагаемой летописи Петра Бориславича. Результаты этого анализа показали идентичность многих слов, оборотов, лексических и грамматических конструкций. То есть это вполне вероятная гипотеза. Но нет пока доказательств, что автором многих частей этой летописи является именно названный Петр Бориславич. Кем бы ни был этот автор, но если именно он является и автором поэмы, то вполне вероятно попадание в летопись покаяния Игоря именно из поэмы "Слово о полку Игореве", которое в его позднейшем списке не сохранилось. В древнерусской литературе "катарсис", то есть очищение героя через покаяние, был непеременимым условием. А в "Слове о полку Игореве" очищение героя происходит, ибо его уже в заключительной части "славят", а вот покаяния-то и нет, без которого по канонам искусства того времени очищения не могло произойти. Следовательно "Покаяние Игоря" — это лакуна, утраченная в тексте поэмы. К той же мысли пришел еще один человек, Марк Борисович Хасдан, много лет занимающийся исследованием текста "Слова о полку Игореве".

В своей работе "Опыт восстановления протографа "Слова о полку Игореве", с которой он меня любезно познакомил, он включил "Покаяние Игоря" в реконструированный им текст протографа "Слова о полку Игореве".

Описываю так подробно, потому что человеку, который специально не занимался "Словом о полку Игореве" всего этого не видно.

На современном этапе задачей перевода, по моему глубокому убеждению, является необходимость такого перевода, который зафиксировал бы в поэтическом слове состояние слововедения, толкования текста, историографии на данном этапе, чтобы все достижения, гипотезы, догадки не пропали бы с течением времени на страницах старых газет, специальной периодики или порою даже в рукописях исследователей-любителей, чтобы перевод зафиксировал не только состояние узаконенных толкований, но и наиболее спорные с привычных представлений, чтобы они тоже каким-то образом то ли нашли свое отображение, то ли просто зафиксировались.

Конечно, я не могу претендовать в полной мере, что мой перевод отвечает всем этим требованиям, которые я сам же предъявил к переводу. Но хотя бы частично, я думаю, эти требования я все же воплотил в своем переводе. Наличие такого перевода считаю необходимым и закономерным. Потому-то и появился на свет еще один перевод — перевод, выполненный мной.

## СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

(перевод)

## ЗАЧИН

## 1.

Негоже нам было бы, братья,  
начинать словесами старинными  
ратные повести  
о полку Игоря Святославича.  
А начаться песне той ныне  
по сегодняшним былям и ранам,  
а не замыслам буйным Бояна.  
Если веший Боян собирался  
песнь кому сложить хвалебную,  
белкой он сновал по дереву,  
по земле серым волком стелился  
и под облаком реял орлом.  
Помнил он,  
говорят,  
стародавние брани...  
На лебяжию стаю в полете  
соколов впускали десяток.  
И которую лебедь охота  
соколиная первой настигнет,  
эта лебедь и первою пела:  
прославляла ль она Ярослава,  
удалого ли князя Мстислава,  
что зарезал на поле Редедю  
перед вражеской ратью косоогов,  
и красавца Романа Святославича  
прославляла и пела особо.  
А Боян же, братья, за песней  
не пускал соколов в поднебесье,  
но персты свои вешие  
воскладал на живы струны.  
Струны сами играли,  
славу князьям рокотали.

## 2.

Так начнем же мы, братия, ныне  
эту повесть от старого князя Владимира,  
доведем до княжения Игоря,  
который своєю отвагой  
обуздал-пересилил ум,  
поострил свое сердце мужеством  
и, преисполнившись воинских дум,  
навел полки свои храбрые  
на Половецкую землю  
за Русскую землю...  
О, Боян, соловей старины стародавней!  
Вот тебе б и выщелкивать песнь о походе,  
скача, соловей, по мысленному древу,  
к облакам поднимаясь в своих замысленьях,  
славу прежнюю с нынешней славой свивая,  
торопясь тропею Трояновой  
через поля на горы.  
Песня Игорю так бы звучала:  
“Через доли и веси от дому  
то не соколов буря замчала —  
полетели опять на поживу  
стаи галок к Великому Дону”.

Или иначе было б воспето,  
веший Боян, внуче Велеса?

## ПОХОД

Повесть первая

## БРАТЬЯ

Кони ржут за Сулою —  
слава звенит в Киеве.  
Трубы трубят в Новеграде.  
Рати стоят в Путивле.  
Говорит князь Игорь Всеволоду:  
“А гнезда мы оба Олегова.  
И родились не для печали  
и не на поживу ни кречету,  
ни черному ворону встречному —  
поганому половчанину.  
Помужествуем, Всеволод, сами.  
Прошлую славу похитим,  
поделим грядущую сами.  
Не помолодеть Святославу”.  
Мила брата Всеволода  
Игорь князь ожидает...  
И молвил ему Всеволод:  
“Один лишь брат у меня,  
один лишь свет для меня,  
свет ты мой светлый, Игорь.  
Не оба ли мы Святославичи?  
Седлай же, брат, ты коней своих быстрых.  
А мои-то уже под седлами  
стоят впереди у Курска.  
А мои-то куряне — бывалые воины,  
родились под трубами,  
под шеломами выросли  
и вскормлены с копий.  
Пути им знакомы,  
овраги им ведомы,  
их луки натянута,  
колчаны отворены,  
сабли изострены.  
И скажут по полю,  
как серые волки,  
ища себе чести,  
а князю — славы”.

## ЗНАМЕНИЕ

Игорь на гневное солнце взглянул...  
Солнце затмением воинов скрыло.  
Игорь дружине своей говорит:  
“Братья мои и дружина хоробрая!  
Лучше нам пасть,  
чем попасться в полон.  
Сядем же, братья, на быстрых коней мы  
да позрим на далекий Дон”.  
Заслонила ему и знамение  
страсть Великого Дона отведать.  
“Хочу, —  
говорит, —  
копье преломить  
о конец Половецкого поля,  
мои русичи, с вами,  
или жизнь положить,



или Дона шеломом победно испить..."  
 Игорь вступил в золотое стремя  
 и поехал по чистому полю.  
 Солнце мглой ему путь заграждало,  
 ночь раскатом грозы угрожала,  
 птичий свист пробудила,  
 звери сбились в стада.  
 Див на древке вздыбился коршуном,  
 сверху землям неведомым кличет:  
 Волге, Сурожью, Посулью, Корсуню  
 и тебе — Тмутараканскому идолу.  
 А половцы, русские рати завидев,  
 на Дон устремились неторными тропами.  
 Только телеги кричали в полночи,  
 словно лебеди растревоженные...  
 Игорь к Дону войско ведет.  
 Чуют беду его птицы в дубравах,  
 волки беду накликают в оврагах,  
 орлы созывают на кости зверей,  
 брещут на рати лисицы с полей.  
 О родная земля! Ты уже за холмом...

## СТЫЧКА

## 1.

Ночь медленно меркнет.  
 Заря свет запалила.  
 Туман на поляны пал.  
 Соловьиный шекот умолк.  
 Галочий говор проснулся,  
 рать червлеными шитами  
 поле перегородила.  
 "Рати — честь! А князю — славу!" —  
 говорили.  
 Потопгав полки поганых  
 спозаранок,  
 разлетелись, словно стрелы  
 в поле брани.  
 И помчали половецких  
 девок красных,  
 с ними золото и бархат,  
 ткани разные.  
 Покрывалами, плащами  
 грязь мостили.  
 Узорочья дорогие —  
 на настилы.  
 "Червленный стяг,  
 бунчук червленный,  
 белая хоругвь  
 и стружие сребрено —  
 будут Святославичу!"

## 2.

Дремлет в поле гнездо Олегово.  
 Далеко залетели Олеговичи,  
 далеко залетели, далече.  
 И родились не для печали,  
 и не на поживу ни кречету,  
 ни черному ворону встречному —  
 поганому половецанину.  
 Серым волком бежит Гзак.  
 След ему пролагает Кончак  
 к дому — к Великому Дону.

## КАЯЛА

## 1.

Спозаранок рано зори  
 свет кровавый предвещают.  
 Тучи черные от моря  
 хотят прикрыть четыре солнца.  
 В тучах молнии трепещут.  
 Громыхать над Доном грому.  
 Быть дождю из стрел от Дона.  
 Тут и копьям преломиться как соломе!  
 Тут и саблям притупиться о шеломы!  
 На реке Каяле возле Дона.  
 О родная земля!  
 Ты и не за холмом уже...

## 2.

Веют ветры, внуки Стрибога,  
 веют калеными стрелами с моря  
 на храбрые рати Игоря.  
 Стонет земля, помутились реки,  
 пыль несет над полями ветер.  
 Это половцы скачут от Дона  
 и от моря, и с разных сторон.  
 Обступили русские рати.  
 Переполнили поле визгом  
 дети бесовские — половецкие.  
 А храбрые русичи путь преградили  
 щитами червлеными.

## 3.

Стоишь, богатырь Всеволод,  
 в первых рядах обороны.  
 Прыщешь на воинов стрелы,  
 гремишь о шеломы мечами.  
 Куда, богатырь, ни поскачешь,  
 шеломом златым посвечивая, —  
 лежат половецкие головы,  
 это шеломы оварские  
 саблей ты расщепил каленой.  
 Что тому смертные раны? —  
 забывшему ради брани  
 богатство и честь Чернигова —  
 престол золотой отцовский,  
 и милой красавицы Глебовны  
 любовь и обычаи-свычаи.

## 4.

С рассвета до позднего вечера,  
 с вечера и до рассвета  
 стрелы летят каленые,  
 сабли трещат о шеломы,  
 копыта трещат боевые  
 в чужом Половецком поле.  
 В черной земле под копытами  
 кости посеяны,

горем  
 кровью политы,  
 по Русской земле

прорастают.

## РАЗГРОМ

1.

Что шумит,  
что звенит  
в этот час  
перед зорями рано?

Это Игорь полки свои заворачивает.  
Жаль ему милого брата Всеволода.  
Бились день, бились два, а на третий  
пали к полудню Игоря стяги.  
Братьям разлука у быстрой Каялы.  
Кровавых им вин не хватило для боя.  
Пир окончили храбрые русичи.  
Сватов напоив, полегли  
за пределами Русской земли.

2.

Никнет трава  
в безысходной печали,  
а дерево в жалости  
клонится долу.  
Невеселая, братья,  
година настала.  
Уже и пустыни силу прикрыла.  
В рядах Дажьбожевых внуков  
обида встала,  
вступила девой на землю Троянову,  
всплескала на море на синем у Дона  
лебедиными крыльями  
и подняла,  
плещущи,  
время раздора.

Брату брат говорил:  
“И это мое, и другое...”

И мелкие ссоры в раздор вырастали.  
И сами себе же крамолу ковали.  
А половцы с разных сторон налетали  
на Русскую землю с победами ратными.

3.

О, далеко залетел ты, сокол,  
птиц избивая, — к самому морю.  
А Игоря рати храброй,  
полка его — не воскресить.  
Следом черный дракон  
скачет в наши поля,  
на людей по дорогам  
мечет огонь  
из пламенных рогов.

Запричитали русские жены:  
“Уже никогда нам лад своих милых  
ни мыслию смыслити, ни думою сдумати,  
ни взором не выгледеть,  
а злата и серебра того  
уже никогда не носить —  
не держать нам”.

Застонал от горя Киев  
и Чернигов от напастей.  
Разлилась землею Русской,  
потекла печаль обильно.  
А князья враждой раздоров

на себя куют крамолу.  
А поганых рати вольно  
стали в русских землях рыскать,  
собирая дань победно ныне:  
от двора — по рабыне.

4.

Так и два Святославича храбрых,  
Всеволод с Игорем князем,  
зло пробудили походом,  
что усыпил уже было  
князь Святослав перед этим,  
усмирил полками могучими,  
мечами прибил боевыми,  
укротил поля Половецкие,  
притоптал холмы и яруги,  
реки взмутил и озера,  
ручьи иссушил и болота,  
Кобяка словно вихрем вырвал  
из железных полков половецких.  
И в Киеве у Святослава  
пал в-gridнице Кобяк бесславно.  
Тут и немцы, и венецианцы,  
тут и греки, и чехи с Моравы  
славу поют Святославу,  
только Игоря корят:  
“Рать его на дне Каялы.  
Пересел с седла золотого  
в рабское седло”.  
Городские ограды уныли,  
уже и веселье поникло.

## НА РУСИ

Повесть вторая

### СОН СВЯТОСЛАВА

Святослав этой ночью в Киеве  
смутный сон на горах видел.  
“И всю ночь, — говорит, — обряжали  
покрывалом черным с вечера  
на кровати меня на тисовой.  
И с осадком трутовым смешанное  
мне вино темно-синее черпали,  
крупный жемчуг на грудь мне сыпали  
из пустых колчанов половецв.  
Осыпали меня, “величали”.  
А в моем златоверхом тереме  
уже и престол без князя.  
И всю ночь вещие вороны  
на лугу у Плесенска граяли...  
И сказали бояре князю:  
“Горе разум нам, князь, застиляет.  
Ведь слетели два сокола  
с золотого престола отцовского  
достигнуть Тмутаракани  
иль шеломом испробовать Дона.  
Уже соколам крылья подрезали  
сабли поганых,  
а самих опутали в путы железные.  
Потемнело на третий день:  
оба солнца ярких померкло,

оба ярких столпа погасло,  
и с ними два молодых месяца  
тьмою заволклось...  
По Руси распростерлися половцы.  
Белотканый шатер княжеский  
погрузился в пучины моря —  
ликованье великое встало в хинове.  
И хула распинает хвалу,  
и неволя осилила волю.  
Див низвергнулся с древка на землю,  
и красивые девы воспели  
у синего моря на берегу.  
Звоня русским златом,  
поют басурмане,  
делают месть они за Шароканя.  
А нам же, дружина, не до веселья".

## ЗОЛОТОЕ СЛОВО СВЯТОСЛАВА

## 1.

И тогда, со слезами смешав,  
изронил золотое слово  
Великий князь Святослав:  
"О племянники Игорь и Всеволод!  
Половецкую землю мечами  
не ко времени стали терзать,  
себе ратную славу искать.  
Одолели вы не по чести,  
не ко времени стали, без чести  
кровь поганую проливать.  
В битвах жестоких скованы,  
закалились сердца ваши в дерзости.  
Что же, братья, вы мне учинили?  
Мои осрамили седины.  
Но вы меж собой говорили:  
"Помужествуем, братья, мы сами.  
Прошлую славу похитим,  
поделаим грядущую сами.  
Не помолодеть Святославу".  
Но не диво и старому, братья,  
если надо — помолодеть.  
Когда сокол перелиняет,  
птиц высоко он взбивает, —  
гнезда не дает в обиду.  
Но вот мне беда —

непокорность,  
князей же непослушание  
ни во что старшинство мое ставит.  
Вот кричат уже снова у Римова  
под кривыми саблями половцев,  
а Владимира раны глубоки,  
печаль и тоска сыну Глебову.

## 2.

А не вижу я власти и помощи  
моего всесильного брата,  
многовоинного Ярослава  
с черниговскими боярами,  
с топчаками и могутами,  
с татранами и ольберами.  
И без крепких щитов они

лишь с дубьем —  
и одним лишь кликом  
вражью рать разбивают,  
звоня в прадедову славу.

## 3.

Где ж ты, Всеволод, княже Великий?  
Не помыслишь ли ты издалика  
прилететь для защиты престола?  
Ты и Волгу выплескивал веслами,  
можешь вычерпать Дон ты шеломами.  
Был бы здесь ты —  
и пленник по резане,  
по ногате б ценились невольницы.  
Можешь посуху, словно бы копьями,  
ты живыми стрелять шереширами —  
сыновьями хоробрими Глеба.

## 4.

Именитые Рюрик с Давыдом!  
А не ваши ль по самые шлемы  
плыли по крови по вражеской воины?  
А дружина не ваша ли рыкает  
в Половецком неведомом полё,  
словно туры от сабельной раны?  
В стремена золотые вступите!  
За обиду нашего времени!  
За Русскую землю! За Игоря раны!

## 5.

Осмомысл Ярослав Галицкий!  
Высоко ты сидишь на престоле,  
подперевши венгерские горы  
и полками своими железными  
королю заступивши дорогу,  
затворивши Дунаю Ворота  
и меча бремена через облаки,  
и верша до Дуная суды.  
Твои грозы по землям проходят,  
отворяешь ворота ты Киеву,  
с золотого престола отцовского  
ты стреляешь в султанов за землями.  
Так стреляй, господин, в Кончака!  
Так стреляй же в поганого половца!  
За Русскую землю! За Игоря раны!

## 6.

Роман и Мстислав, именитые!  
Мысли храбрые ум ваш влекут,  
и с отвагой на подвиг летите,  
словно соколы в небе паря,  
птицу в дерзости выбить стремясь.  
Есть у вас железные молодцы  
под латинскими шлемами,  
потому содрогнулась земля  
и народы трепещут пред вами.  
И хинова, литва, и ятваги,  
деремелы и многие половцы  
свои колья, щиты побросали,  
и свои преклонили головы  
под те мечи боевые.  
Но померкло Игорю солнце.



Не к добру обезлиствело дерево:  
поделили по Роси и Суле  
города, плодородные земли.  
А Игоря рати храброй,  
полка его —  
не воскресить...”  
Кличет Дон и князей призывает  
на победу, на ратные подвиги.  
А князья из гнездовья Олега  
через год лишь dospели на битву.

## 7.

Ингварь, Всеволод, трое Мстиславичей!  
Не худого гнезда шестокрыльцы,  
но обширные ваши владения  
не по праву побед расхитили.  
Где же ваши шеломы золотые?  
Где же польские копья и стрелы?  
Заградите же полю ворота  
Вы щитами и острыми стрелами!  
За Русскую землю! За Игоря раны!

## УСОБИЦЫ

## 1.

И Сула не течет уже струями  
мимо Переяславля города,  
а для грозного города Полоцка  
и Двина замутилась болотом  
через клики поганых литовцев.  
Лишь один Изяслав Василькович  
прозвенел о шеломы литовские  
своими мечами острыми.  
И побил он дедовскую славу —  
знаменитого князя Всеслава.  
Только сам он мечами литовскими  
под щитами, червлеными в битве,  
на траве на кровавой повержен,  
юной кровью исходит...  
А трава говорит Изяславу:  
“После битвы дружину твою  
приодели крыльями птицы,  
а звери кровь полизали”.  
И ни брата его Брючислава,  
ни второго не было — Всеволода.  
Так один и повержен бесславно,  
изронил он жемчужную душу  
через злат ожерелье из тела.  
Голоса и веселие сникло.  
Городенские трубы трубили.

## 2.

Ярославовы внуки, Всеславовы!  
Не вздымайте вы более стягов.  
Потеряли дедовскую славу.  
В своих распрах не вы ль призывали  
рать поганых на Русскую землю,  
на угодия князя Всеслава?  
Лишь усобицей вражье насилие  
началось от земли Половецкой.

## 3.

Было время Трояново,  
Ярославовы минули годы.  
Двигал полки в походы  
Олег, сын Святослава.  
Тот ведь Олег мечами  
крамолу повсюду ковал,  
стрелы раздора, печали  
по Русской земле рассеивал.  
В городе Тмутаракани  
в золотое стремя вступал —  
звон предстоящей брани  
Всеволод, сын Ярослава, слышал.  
А Владимир в Чернигове граде  
на засов ворота запирает.  
А Борис Вячеславич бесславно  
принял смерть за обиду Олега.  
На Канине ковыльные травы  
стлались саваном для ночлега.  
С той же Каялы — реки печали —  
к Софии святой, что во Киеве,  
Святополк повелел на носилках  
между угорскими иноходцами  
своего доставить отца.  
При Олеге том Гориславиче  
не было распрям конца.  
Разорялось, губилось в раздорах  
достоянье Дажьбожевых внуков.  
Век людской на земле сокращался.  
И на Русской земле в эту пору  
редко пахаря крик раздавался,  
но граяли вороны часто,  
трупы между собою деля,  
а галки говор свой поднимали,  
собираясь лететь на поживу.

## 4.

В том же самом веке раздоров  
жребий был брошен князем Всеславом,  
как о девице князю любимой,  
о заветном великом престоле.  
Оперевшись на хитрость волшебную,  
доскакал до заветного Киева  
и коснулся серебряным стружем  
золотого престола великого.  
А бежал он оттуда, преследуем,  
словно зверь,  
темной ночью из Белгорода,  
ухватившись за синее облако.  
А наутро вонзил он секиры,  
Нову-граду ворота вскрывая.  
Ярославову славу разрушил  
и скакнул на Немигу с Дудуток.  
А снопы на Немиге — да вниз головами,  
и молодят цепями булатными.  
Жизнь кладут на току,  
веют душу от тела.  
Берега обгащенной Немиги  
не на добро засеяны,  
а костями русских сынов.  
Князь Всеслав

правил суд над народом,

князьям города рядил,  
сам же волком ночами он рыскал.  
До рассвета из Киева добежал он  
до стен Тмутаракани.  
Самому великому Хорсу  
серым волком пути перерыскивал.  
Ему позвонили в колокол  
к заутрени рано в Полоцке —  
этот звон он и в Киеве слышал.  
Хоть и вещей была у Всеслава  
в дерзком теле душа его,  
но и он страдал от бед немало.  
Еще вещей Боян про такого  
молвил некогда верное слово:  
"Ни хитрому, ни со сноровкой,  
ни даже птице ловкой —  
суда божьего не минуть".

## 5.

О, печалиться Русской земле,  
времена вспоминая былые  
и минувших князей поминая.  
Судьба им досталась иная.  
Того старого князя Владимира  
к горам не прижали бы к Киевским.  
Его стяги теперь поделались  
меж Давыдом и Рюриком князем.  
Но поврозь этих стягов полотнища  
на ветру над полками полощутся,  
и копыя их розно поют.

**В ПЛЕНУ**

Повесть третья

**ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ**

Ярославнин голос рано  
долетает до Дуная.  
Как неведомая птица,  
Ярославна причитает:  
"Легкокрылою зегвицей  
полечу я по Дунаю,  
и рукав шелковый, белый  
омочу в реке Каяле,  
оботру я раны князю  
на его горячем теле".  
На стене Путивля града  
Ярославна рано плачет:  
"Господин Ветрило-Ветер!  
Ты зачем так сильно веешь  
и хиновьи стрелы мечешь  
в войско милого мне лады?  
Разве мало было веять,  
корабли в морях лелея?  
Ты зачем мое веселье  
в ковылях степных развеял?"  
На стене Путивля града  
Ярославна рано плачет:  
"Ты могуч, Днепро Словутич!  
Путь пробил себе  
сквозь горы  
в Половецких землях к морю.  
Святославоны, лелея,

нес лады на синих волнах  
Кобякову рать развеять.  
Возледей ко мне ты ладу,  
чтоб к нему поутру в горе  
я не слала слез на море".  
На стене Путивля града  
Ярославна рано плачет:  
"Трижды светом светло, солнце, —  
Ты для всех теплом отраднo.  
Отчего — скажи мне, солнце, —  
жжешь лучами войско лады  
и в безводном поле жаждой  
луки ратников стянуло,  
горем колчаны заткнуло?"

**ПОБЕГ**

Вспенилось море в полуночи.  
В тучах движутся вихри.  
Игорю бог указывает  
путь из земли Половецкой  
снова на Русскую землю,  
к отчему злату престолу.  
К ночи погасла заря.  
Игорь и спит, и не спит.  
Игорь верхом на коне  
мысленно мерит поля,  
степи от Дона к Донцу  
и до родного крыльца.  
Свистнул Овлур за рекой,  
князю велит разуметь:  
Игоря плену не быть.  
Загудела земля,  
зашумела трава,  
половецкие вежи  
тревожно задвигались.  
А князь в тростники  
скакнул горностаем,  
белым гоголем на воду,  
вскочил на коня,  
соскочив с него,  
волком помчался  
по лугу Донца.  
Сизым соколом Игорь  
полетел к облакам,  
лебедей и гусей  
сбивая на завтрак,  
к обеду и к ужину.  
Когда соколом Игорь  
домой полетел,  
тогда волком Овлур,  
страхивая росу,  
по траве побежал —  
ведь загнали они  
своих быстрых коней.

**ПОКАЯНИЕ ИГОРЯ**

## 1.

Говорит Донец:  
"Князь Игорь!  
Для тебя немало славы,  
Кончаку же злой досады

и веселия Руси".  
 "О Донец, — ответил Игорь, —  
 и тебе немало славы:  
 на волнах делеял князя,  
 укрывал его туманом,  
 стлал зеленую траву  
 на серебряном берегу.  
 Не такая речка Стugna,  
 небольшой своей струею,  
 с берега вражеского воды  
 из чужих ручьев вбирая,  
 широко разлилась к устью,  
 поглотила тело князя  
 Ростислава молодого.  
 В горе мать о сыне плачет,  
 юном князе Ростиславе.  
 И цветы в тоске поникли,  
 в жалости склонились долу".

## 2.

И раскаясь в грехах своих,  
 Игорь горестно молвил:  
 "Русской крови немало  
 было пролито мною.  
 Мною разграблен был Глебов —  
 город у Переславля.  
 Зло творивши и беды,  
 имя я обесславил.  
 Обрекал на разлуку  
 я отцов с сыновьями,  
 и с подругой подругу,  
 жен плененных с мужьями.  
 Были люди в смятенье  
 и от плена скорбили.  
 Беды и преступленья  
 от меня исходили.  
 И была даже зависть  
 у живущих к убитым.  
 Мы мужей вырезали,  
 были юные биты.  
 Я и смерти достоин,  
 а не то чтобы плена.  
 Где мужи мои — воины,  
 где союз наш военный?  
 Где возлюбленный брат мой?  
 Нет и братова сына.  
 Где ты, сердца отрада, —  
 мной рожденное чадо?  
 Где полки снаряженные?  
 Где оружие и кони?  
 Не всего ли лишен я  
 за свои беззаконья?..  
 Нет и верной мне рати.  
 В поле вражем побита.  
 Вы простите мне, братья,  
 за неправедны битвы."

## ПОГОНЯ

## 1.

Не сороки стрекочут —  
 по Игоря следу  
 ищут и рыщут  
 Гзак с Кончаком.  
 И не граяли вороны,  
 и галки примолкли.  
 Только полозья ползали.  
 И лишь перестуком  
 Игорю дятлы путь направляют.  
 Соловьиные песни  
 рассвет предвещают.

## 2.

И сказал Кончаку Гзак:  
 "Если сокол к гнезду летит,  
 половецкой стрелой каленой  
 расстреляем мы соколенка".  
 А Кончак отвечает так:  
 "Если сокол к гнезду летит,  
 мы красавицей половчанкой  
 здесь опутаем соколенка".  
 И сказал Кончаку Гзак:  
 "Если мы соколенка  
 и опутаем половчанкой,  
 не видать нам ни соколенка,  
 ни красавицы половчанки.  
 И будут нас птицы на воле  
 бить в Половецком поле.  
 И хотя Святослава и князя Олега —  
 половчанками жены  
 были обе когда-то,  
 прилетают с разбоем  
 все же их соколята".

## СЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Если чувства в слово облечь,  
 так звучала б Боянова речь:  
 "Тяжело голове без плеч,  
 без головы и телу — горе.  
 Так без Игоря и Руси..."  
 Солнце взошло в небеси —  
 Игорь вновь на Руси.  
 Песни звучат на Дунае,  
 до Киева долетая.  
 Едет князь по Боричеву  
 к Пирогошей святой богородице.  
 Страны рады,  
 и веселы грады.  
 Старых князей восславив,  
 споем молодым славу.  
 Слава Игорю Святославичу!  
 Богатырю Всеволоду — слава!  
 Молодому Владимиру — слава!  
 Здравы будьте, князья!  
 Вечная память дружине!



